

NEW HERITAGE PUBLISHERS

Елизавета Кирпичникова

СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ



Editors-Compilers:
Maria V. Berg
Lyudmila P. Petrova

Copyright © Elisabeth Kirpitchenkova, 2020

All rights reserved. Electronic copying, print copying and distribution of this book for non-commercial, academic or individual use can be made by any user without permission or charge. Any part of this book being cited or used howsoever in other publications must acknowledge this publication.

No part of this book may be reproduced in any form whatsoever (including storage in any media) for commercial use without the prior permission of the copyright holder. Requests for permission to reproduce any part of this book for commercial use must be addressed to the Author. The Author retains his rights to use this book as a whole or any part of it in any other publications and in any way he sees fit. This Copyright Agreement shall remain valid even if the Author transfers copyright of the book to another party.

This book was typeset using the L^AT_EX typesetting system.

Cover image: Lisa in the forest, 2019.

ISBN 978-0-9981894-2-0

New Heritage Publishers, New York, Brooklyn, USA

NEW HERITAGE PUBLISHERS

ЕЛИЗАВЕТА КИРПИЧНИКОВА



СЦЕНЫ
ИЗ
СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ



Brooklyn, New York, USA

— 2020 —

Оглавление

Моя бабушка: семейная тайна	5
Мой папа	26
Комарово	32
Евпатория. Раковины и отвага	35
Ярослав Владимирович Вербовский	41
Дача Берга	63
Митя Орбели	67
Как трудно потерять невинность	75
Мои университетские годы	82
Сашенька	90
Сибирь	96
После сибирской ссылки	119
О счастье	144
Экскурс в историю семьи Кирпичниковых	147
Альбом рисунков	160

Моя бабушка: семейная тайна¹



Вначале у меня и моей младшей сестры Маши были мама (Раиса Львовна Берг) и папа (Валентин Сергеевич Кирпичников), был ещё старший брат Митя Квасов, на 15 лет старше меня, но он воспитывался и жил у деда. В конце 1950 года наш старый дедушка-академик Лев Семёнович Берг умер от тромбоза, когда мне было три с половиной года. А ему было всего 74, его врачи прикончили. Р. Л. Берг (моя мать) так пишет об этом в биографии своего отца: «Он погиб из-за врачебной ошибки привилегированных врачей ныне расформированной Свердловской больницы для привилегированных. Ошибка не была случайностью. Это был закономерный результат подчинения диагностики идеологическому диктату.»

А бабушки у нас не было. У дедушки, правда, была жена, её звали Марьмиха. Мария Михайловна Иванова была второй женой

¹Первые очерк опубликован в литературном альманахе «Средний Запад», вып. 5, март 2010. — (Прим. ред.)

деда, маминой мачехой. Слово-то какое — МАЧЕХА. Сказочный отрицательный персонаж. По рассказам мамы, такой она для неё с братом и была. Нашей бабушкой она никогда не была, нас особо не любила и не баловала. Навещали мы её редко.

Другая бабушка — папина мама — жила в Москве. Она нас в Питере навестила всего один раз. Крошечные шаловливые внучки Лиза и Маша — ей не понравились. Мы плохо себя вели — шалили. Так говорила мама. Больше мы её не видели никогда. Папа тоже исчез из нашей жизни, когда мне не было ещё шести лет, а сестре — на год меньше. Может быть, поэтому и его мать перестала нами интересоваться. Но мне очень не хватало настоящей бабушки. Сколько раз я спрашивала у мамы:

— Расскажи мне про свою маму, где она? Кто она? Жива ли она? А если умерла, то хотя бы, как её звали?

На все мои вопросы был всегда один и тот же ответ:

— Про мою мать я ничего говорить не стану. Мой отец о ней никогда не говорил, и я не буду!!! Это — табу!

— Ну пожалуйста, расскажи всё же хоть что-нибудь!

— Она была, наверное, плохая женщина, но я ничего о ней не знаю, — так отвечала мама. Мама совсем не знала свою мать, выросла без матери, мне было так её жаль. Это просто не укладывалось в голове, в этом было что-то чудовищное и крайне таинственное.

О том, что моя бабушка — еврейка, что её фамилия — Катловкер, мне поведал мой старший брат Митя, когда мне было уже восемнадцать лет. В этот незабываемый день я узнала, что я — еврейка, причём, более чем наполовину, потому что моя мать — стопроцентная еврейка, а отец — не менее чем на четверть — еврей. Вот это было открытие! При этом выяснилось, что мама нас зачем-то обманывала, вернее, скрывала от нас — детей — самое важное и интересное. По умолчанию. . . С этим было очень трудно примириться, настолько это не совпадало с тем идеальным образом матери, который наша мама успешно пыталась нам внушить.

Позднее мне удалось всё же выудить крайне немногочисленные сведения о моей бабушке, но почти всё, что я узнала о ней, рассказали мне её старшие дочери от первого брака на похоронах моего дяди, Симона Львовича Берга. С её полусёстрами, а моими тётками, Анной и Натальей, маму познакомил её брат незадолго до своей смерти. В ресторане “Метрополь”. Маме тогда было уже за пятьдесят. А в последние годы жизни мама кое-что о своей матери вдруг “вспомнила” и милостиво согласилась поделиться этими воспоминаниями со мной и с моим старшим сыном Максимом, но по отдельности.

И ей было почему-то трудно, неприятно о ней говорить, вероятно, ТАБУ, наложенное её отцом в самом раннем детстве, продолжало действовать...

Однако мне хочется, наконец, восстановить справедливость и рассказать как можно правдивее о том, какой замечательной женщиной была наша с сестрой и братом бабушка — урождённая Паулина Адольфовна Катловкер. Она умерла от рака до моего рождения в 1943 году, во время войны, в эвакуации, в Куйбышеве, ей было всего 62 года, ровно столько, сколько мне сейчас. Мне всегда её очень не хватало, я чувствую в себе как бы её присутствие, и мой долг перед ней — рассказать всё то небольшое, что мне о ней известно.

Мой прадед Симон (Семён) Берг жил в Бессарабии, в городе Бендеры, имел собственную нотариальную контору. Он умер 1 января 1898 года.

Дедушка мой Лев Берг родился в Бендерах 14 марта 1876 года в довольно просвещённой еврейской семье. Отец — всеми уважаемый нотариус — был заметной фигурой в местной синагоге, дружил с раввином. Семья жила за чертой оседлости. В те времена евреи не имели права селиться в северной части России, особенно в столичных городах, Москве и Петербурге. Однако этот запрет на проживание “вне черты оседлости” можно было обойти двумя способами: либо заплатить крупный налог — “ценз”, либо “перейти” в христианство, креститься, отказавшись от иудаизма.

После окончания 2-ой гимназии в Кишинёве, юный Берг тайно от отца и матери крестился, выбрав лютеранство — христианскую религию, наименее обременённую обрядами. Скорее всего, верующим в Бога он по настоящему тогда себя не считал. Его верой была наука, он страстно стремился попасть в Московский Университет. И попал, поступил. Пришлось семье примириться. Отец, сильно опечаленный, ходил за советом и утешением к раввину, который, как известно из анекдота, испрашивал совета у самого Бога... И Бог сказал раввину: “Таки трудно... У меня та же проблема...”

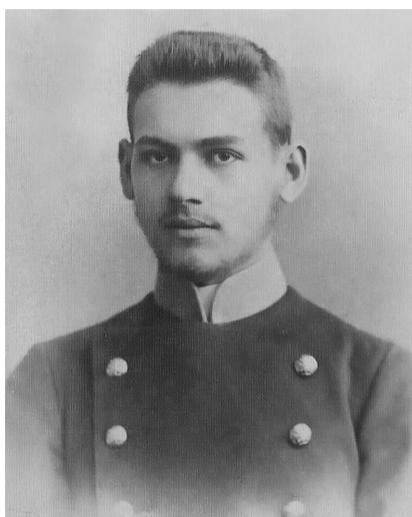
Академик А. С. Зернов вспоминал: “Появился удивительный студент — худенький, молоденький, казалось, почти мальчик, но всё знает, всем интересуется — просто беда!”

Он учился 4 года на Естественном отделении физико-математического факультета. Его дипломная работа “Дробление парабласта у щуки”, удостоенная золотой медали, была посвящена эмбриологии рыб. Сам Л. С. Берг вспоминал:



Симон Берг (прадед) с сыном Львом – гимназистом, 1888

“Развивающиеся икринки были разложены у меня на блюдах на столе. Я следил за развитием целую ночь, а под утро заснул. В это время пришла горничная убирать комнату и выбросила с блюд весь мой эмбриологический материал. Когда я проснулся, отчаянию моему не было пределов.”



Л. С. Берг после окончания МГУ, 1898

Летом 1897 года Лев Берг совершил дальнейшее путешествие на реку Урал, которая до восстания Пугачёва 1774 года называлась Яиком. В городе Гурьеве он занимался опытами по искусственному разведению севрюги, наблюдения эти были опубликованы ещё в студенческие годы.

Летом 1898 года, совместно с молодым озероведом Павлом Григорьевичем Игнатовым, он исследовал солёные озера Западной Сибири. Экспедицию курировал Западно-Сибирский отдел Географического Общества. Обработка огромного количества материалов, собранных во время этой экспедиции, заняла несколько месяцев. За монографическое описание этих озер, первое ландшафтоведческое исследование, молодые люди были награждены Малой золотой медалью Географического Общества.

Казалось бы, двери научных учреждений должны были сами распахнуться перед талантливым молодым учёным. Но нет. Остать-

ся при Университете “для подготовки к профессорскому званию”, как говорили в те времена, еврейскому юноше “из провинции” нечего было и думать. Содействие ему оказали только научные общества — Географическое и Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии с их демократическими традициями. Но материального обеспечения оба эти общества предоставить не могли.

Далеко не сразу, но помог именно случай. Его разыскал С. Ю. Раунер, управляющий государственным имуществом в Туркестане, чтобы привлечь его к научному изучению края. Раунер предложил Бергу поступить на службу в Департамент земледелия. Бергу было поручено занять должность смотрителя рыбных промыслов на Аральском море и Сыр-Дарье, в диком захолустье, куда сослали непокорных Уральских (Яицких) казаков. В книге о своём отце “По озёрам Сибири и Средней Азии” (Географгиз, 1953) Р. Л. Берг пишет:

“Условия жизни не сулили новому смотрителю ничего доброго. Однако получение и этого, не такого уж завидного места, было сопряжено с величайшими трудностями.”

Уже в первых письмах к Павлу Игнатову, посланных из Москвы, сразу после возвращения из экспедиции на озёра Омского уезда, Лев Семёнович жалуется: «Относительно себя ещё ничего не знаю; слоняюсь по Москве в глупейшем состоянии и мечтаю о том, как бы поскорее отсюда уехать (3/09/1898).

Жить было не на что. Одежда пришла в полнейшую негодность. Студенческий мундир в путешествии так износился, что его пришлось выбросить».

На помощь Бергу пришёл Густав Иванович Радде, маститый учёный, неутомимый исследователь Кавказа. Он обратился к Бергу с просьбой обработать коллекцию рыб Кавказа и нашёл возможность оплатить эту работу. «Поздравьте меня, я получил от Радде 100 рублей за работу о рыбах. Признаться, совсем не ожидал» — писал Л. С. в письме Игнатову 23/10/1898.”

Наконец, в середине ноября состоялась встреча с Раунером, который сообщил, что Берг сможет весной 1899 года приступить к изучению Аральского моря, в должности смотрителя рыбных промыслов на Сыр-Дарье. Проживать он будет в Казалинске, расположенном на почтовом тракте, что в те времена было немаловажно. Лев Семёнович предложил устроить на Сыр-Дарье биологическую станцию, Раунер не возражал. Всё шло как будто хорошо, но для зачисления на службу . . . требовалось свидетельство о благонадёжности, которого у Льва Берга не было.

Затем Раунер уехал в Петербург и казалось, забыл о молодом человеке, которого он обнадёжил. В Москве безуспешное ожидание указаний от Раунера продолжалось два месяца.

14 января 1899 года он впервые приехал в Санкт Петербург. Отправился он туда именно на поиски Раунера. Там он навещал свою двоюродную сестру, жену Бенедикта Катловкера.

Б. А. Катловкер — родной брат моей бабушки — родился в 1872 году в уездном бессарабском городке Сороки (ныне райцентр Сорокского района Молдовы) в семье народного учителя. Его отец — мой прадед — Авраам Катловкер был светским членом пятой сессии Раввинской комиссии при Министерстве внутренних дел Российской империи в 1893–1894 годах, казённым раввином Кишинёва.

Учился Бенедикт в 1-й кишинёвской гимназии, затем на медицинском отделении Киевского университета, работал врачом. В 1897 году Катловкер в Петербурге основал издательство “Копейка” и одноимённое акционерное общество совместно с двумя друзьями (М. Б. Городецким, 1869–1918, и А. Э. Коганом, 1878–1949). Издательство выпускало знаменитую газету “Копейка” с приложениями и ряд других изданий, выходявших колоссальными по тем временам в России тиражами: “Газета-копейка”, “Журнал-копейка” с иллюстрациями, юмористический “Листок-копейка”, “Весёлый балагур”, “Альбом Копейки”, еженедельник “Всемирная панорама” (1909–1918, иллюстрированный журнал “Солнце России”, журналы “Волны” (1909–1917) и “Ежедневная почта” (1907–1916), еженедельный художественно-сатирический журнал “Вампир” (1906), уголовно-приключенческие романы. С 1909 года газета “Копейка” издавалась теми же издателями и в Москве, во многих российских городах имелись собственные листки — приложения к газете.

Тираж основного из этих изданий — газеты “Копейка” — к 1914 году достиг 250 тыс. экземпляров; газета выходила в виде четырёх отдельных изданий, различавшихся по объёму и числу приложений. И утренний и вечерний выпуски газеты стоили одну копейку (против обыкновенной цены в 5 копеек большинства прочих газет).

Бенедикт Катловкер был редактором большинства из этих изданий, в том числе журналов “Всемирная панорама”, “Ежедневная почта”, “Вампир” и “Волны”. После революции — был главой редакции “Рабочей газеты” и газеты “Батрак”¹.

Бенедикт какое-то время жил в Париже, где, по рассказам его

¹Все эти сведения почерпнуты мной из Википедии в статье “Бенедикт Авраамович Катловкер” (иногда встречается Адольфович; 1872).

племянниц, он работал психологом, но это — непроверенные сведения. . .

Итак, брат моей бабушки Паулины — Бенедикт женился на кузине Льва Берга, и у них было две дочери. В то время семья жила в Петербурге, а затем они переехали в Москву. Дочери Бенедикта — Анна и Наталья Катловкер познакомились с моей мамой совсем незадолго до её эмиграции в США, когда ей было около 60 лет. Они приходились ей одновременно двоюродными и троюродными сёстрами и были необычайно похожи на мать. Жили они в Москве. Но вернёмся к бабушке Паулине. . .

Можно предположить, что именно у своей кузины (по мужу — Катловкер, но ни девичьей фамилии, ни имени её я не знаю) молодой Берг и встретил юную красавицу Паулину Катловкер, младшую сестру Бенедикта. Не исключено, что они уже были знакомы в ранней юности, в гимназические годы в Кишинёве.

Восемнадцатилетняя красавица Паулина произвела на молодого Берга неизгладимое впечатление. У неё были прекрасные карие глаза. Волосы её, роскошные темные косы, были невероятной длины, “до пола, когда она стояла”, “можно было укладывать косы вокруг головы чуть ли не в пять рядов” — так потом рассказывали мне старшие дочери бабушки Паулины, мои тётки Анна и Наталья. Она была совсем не глупа и наделена неотразимым обаянием. Дедушка, тогда ещё совсем молодой учёный, влюбился окончательно и бесповоротно.

Паулина была из достаточно богатой семьи, её родители смогли заплатить тот самый налог — “ценз”, позволяющий им жить в столичных городах. В то время семья жила в Санкт Петербурге. Сестра Паулины, Августа Катловкер училась в Вене и стала выдающейся пианисткой.

Влюбившись, юный “дедушка” Лев сделал ей предложение — выйти за него замуж. Он имел самые серьёзные намерения. Не знаю, влюбилась ли она сразу, но Паулине понравился красивый молодой учёный, явно талантливый и тоже наделённый недюжинным обаянием. Хотя семья Берга и не могла обеспечить его солидным состоянием, он уже тогда производил впечатление перспективного учёного и пользовался хорошим отношением её семьи. Паулина, повидавшему, дала согласие, но свадьба их ещё не была назначена. Но тут в судьбу Берга вмешалось . . . Аральское море. Дочь Берга — Раиса Львовна в книге о путешествиях своего отца пишет:

“По окончании университета в 1898 году, безродный выходец из-за черты оседлости, Берг не был оставлен при университете для

подготовки к профессорскому званию, а был направлен в Среднюю Азию в должности смотрителя рыбных промыслов Сыр-Дарьи и Аральского моря.”

Молодой учёный, вернувшись в Москву, стал с жаром готовиться к этой экспедиции. Поставив себе цель — всесторонне изучить Аральское море, он был полон энтузиазма, предвкушая возможность продвинуть географическую науку и доказать, что Аральское море вовсе не усыхает, согласно известным тогда в науке устаревшим сведениям, а как раз наоборот. . .

Далее Р. Л. Берг пишет:

“Пребывая в этой должности, Берг исследовал в полном одиночестве четвёртый по величине замкнутый водоём мира — ныне исчезающее Аральское море. Аральская экспедиция длилась . . . четыре года.

Туркестанский отдел Географического Общества финансировал своего единственного сотрудника, а также — издание 16-ти томов Трудов Экспедиции и публикацию монографии «Аральское море». Матросы исследовательского судёнышка и проводники конных походов по пустынным берегам Арала и в верховья питающей его Сыр-Дарьи были казаками. Берг овладел их языком, публиковал их эпические повествования и через сорок лет, во время войны, в эвакуации в Северном Казахстане, изъяснялся с аборигенами на их языке.

Увесистый том «Аральское море. Опыт физико-географической монографии» Берг представил в Московский Университет в качестве диссертации на соискание магистерской степени, соответствующей нынешней степени кандидата наук. Ему была присвоена степень доктора наук. Географическое Общество удостоило монографию золотой медали. В дальнейшем объектами исследования Берга стали озёра Кавказа, Балхаш, Иссык-Куль, Ладожское озеро.

Первые наблюдения, положившие начало палеогеографическому направлению в озероведении, были сделаны во время исследования солёных озёр Западной Сибири. Вода усыхавших до того озёр прибывала. Господству взглядов Хентингтона о прогрессирующем усыхании климата пришёл конец.

На Аральском море и в окрестных пустынях были получены неоспоримые свидетельства периодических колебаний уровня моря, сужения и расширения его акватории. С неизбежностью следовал прогноз: если период усыхания кончился, значит ледники, питающие реки, несущие воду в Аральское море, должны спуститься ниже в долины. И Берг сменяет палубу исследовательского судёнышка на

седло и отправляется в верховья Сыр-Дарьи. Ледник, ранее исследованный Федченко, сполз в долину.”

Ничего не знаю, была ли между ним и Паулиной какая-нибудь договоренность, писали ли они в разлуке друг другу письма или нет, ждала ли она его, и вообще, обещала ли она ему твёрдо руку и сердце, и надеялся ли он, что она дожждётся его возвращения. . .



Л. С. Берг, 1901

Когда всё ещё влюблённый Лев Берг вернулся из экспедиции, полный всевозможных интереснейших впечатлений и открытий, возмужавший и мечтающий о женитьбе на Паулине, она была уже замужем, счастлива с другим и совершенно недоступна. Во время его отсутствия Паулина встретила замечательного молодого хирурга-“гренадера”, они оба влюбились, и их связывало настоящее сильное чувство. В этом счастливом браке родились две старшие дочери моей бабушки Паулины Катловкер — Анна и Наталья.

Тогда Берг, вероятно, сказал себе: “Ну, что ж, не судьба!” Не впадая в депрессию, можно было полностью отдаться научной работе, так его увлекавшей. Он, вероятно, совсем перестал интересоваться

женщинами, во всяком случае, дальнейшее доказывает, что амурные дела его были на время совсем забыты.

А у Паулины, после десяти лет счастливого брака, случилась катастрофа. Её муж уехал в Вену в командировку, заболел там в гостинице аппендицитом и на третий день умер. Молодой хирург, ему, наверное, было лет тридцать пять, и вдруг умирает от острого аппендицита... это — как сапожник без сапог. Ужас!.. Горе Паулины и двух её малолетних дочерей трудно передать словами... Несчастливая вдова провела год в трауре, как положено...

Судьба... Если бы первый муж моей бабушки не умер, если бы Паулина не овдовела, не было бы ни моей мамы и её брата, ни меня с сестрой Машей и старшим братом Митей, ни моих трёх сыновей, ни Митиных двоих детей и четырёх внуков...

А что же “дедушка” Лев Семенович? Он, оказывается, её не забыл. К тому времени он уже несколько лет жил и работал в Санкт-Петербурге, получив должность сотрудника Зоологического музея. Впрочем, Лев Берг долгие годы мечтал занять вакантную должность профессора географии в Казани. Если бы ему это удалось, скорее всего, не было бы никакого продолжения романа с Паулиной.

Этой мечте не суждено было осуществиться... в результате козней судьбы, в которых немалую роль сыграл К.С.Мережковский — родной брат знаменитого писателя, поэта и философа Дмитрия Мережковского. Талантливый биолог, автор теории симбиогенеза, Константин в то же время заслужил репутацию развращенца, педофила, отъявленного черносотенца и антисемита. Он многие годы всеми средствами боролся против занятия “страшным евреем” Бергом вакантной должности на Географическом факультете Казанского Университета¹.

Вполне естественно, печальную вдову нужно было утешать. Паулина всё ещё была молода, ей ведь было около 30 лет, когда она овдовела. Она по-прежнему очень нравилась Бергу. Тогда Лев вновь предложил ей стать его женой. Он решил жениться на вдове с двумя чужими детьми. И она согласилась — опрометчиво, слишком поспешно, не изжив ещё горя потери любимого мужа. За этот рискованный шаг ей пришлось заплатить слишком дорогую цену.

Очень быстро ей стало ясно, что её второй муж Лёва ничего общего с её первым мужем не имеет. Он просто даже не представлял

¹См. книгу М.Н.Золотоносова “Братья Мережковские. Отщепенis Серебряного века”. Роман для специалистов. Научно-изд. центр “Ладомир”. Москва, 2003.

себе, что значит быть мужем, иметь семью. Его интересовала только наука, он настолько был ею поглощён, что на семейную жизнь у него просто не хватало времени. Паулина родила вскоре сына Симона (23 октября 1911), а через 17 месяцев родилась дочь Раиса (27 марта 1913). Материнские заботы полностью её поглотили. Матерью она была превосходной. Единственного своего сыночка, нежного красавца Симочку, Паулина особенно обожала. Всё же любовь сына и девочек немного её утешала, однако, материнские радости — это ведь ещё не всё. . . Своего учёного мужа она почти не видела все эти первые годы. Лев Семенович часто уезжал в Москву или работал с утра до ночи. “Только не мешайте, дети плачут, это просто невыносимо, беда. . . не дают думать. . .”

Она всё время чувствовала своё чудовищное одиночество. И вспоминала своё счастливое время с первым мужем, ей ведь было с чем сравнивать. Наверное, иногда у неё вырывалось всё это наружу, она не могла сдержать своё недовольство, и Льву приходилось выслушивать ее жалобы и упрёки. В результате он пришел к выводу, что дома бывать надо как можно меньше, иначе невозможно плодотворно работать. У биографов Берга можно прочитать: “семейная жизнь у Берга не сложилась. . .”

Мои тетушки Анна и Наталья, которым в то время было 10 и 12 лет, рассказывали довольно невероятную историю:

— Когда у нашей мамы начались родовые схватки — она должна была родить младшую сестру Раю, она пришла к мужу в кабинет и попросила вызвать на дом доктора или акушерку. Тогда принято было рожать дома, не в роддоме, как теперь. Так вот, Лев отказался. . . Он, наверное, был опять сильно поглощён своей работой, а она пришла “мешать”. . . И он ей ответил:

— Корова сама рожает, и ты тоже можешь обойтись без доктора. . . И не стал вызывать. . . просто отшил её. . .

Так им, вероятно, рассказала эту историю их мама Паулина. А на самом деле? Скорее всего, Лев Семенович ей предложил сам принять роды, учитывая, что рожала она уже четвертого ребёнка. По-видимому, предыдущие роды у неё были не слишком тяжёлые, рожала она быстро и относительно легко, вот он и предложил справиться без акушерки. Он вполне мог сказать ей, что и сам мог бы перевязать пуповину новорождённого. . . Однако она очень обиделась.

Это уже было последней каплей, она была гордая, ранимая, с характером. Он её часто обижал. Она решила уйти, чтобы ему “не мешать”. . .

В конце августа 1913 года, когда моей маме Рае было всего пять месяцев, а может быть, даже раньше, бабушка Паулина взяла всех четырёх детей, молодую няньку и ушла. Её родители сняли ей отдельную квартиру недалеко от себя, возле Таврического сада.

Что при этом пережил “брошенный” муж, можно себе представить. Какие объяснения предшествовали её уходу, мы не знаем и уже никогда не узнаем. Не будем фантазировать. Просто расскажу известные факты. Когда жена забрала детей, Берг сразу понял, что его разлука с ними для него совершенно невыносима, он, конечно же, их любил. Он считал, что воспитывать их должен именно он. Чтобы отобрать у матери детей, нужен бракоразводный процесс. И немедленно.

Осенью того же 1913 года этот развод уже состоялся. На суде выяснялось вероисповедание родителей. Дети должны непременно воспитываться в христианской вере. В царской России тех лет этому придавалось важнейшее значение. Отец — еврей, но крещённый, всё хорошо. . . А мать? Некрещёная еврейка, значит, она — иудейской веры. В “просвещённой” семье матери в Бога не верили и вообще никаких иудейских обрядов, скорее всего, не соблюдали, но это, конечно же, на суде не обсуждалось.

Берг-отец тогда же вызвал свою мать — одинокую вдову — из Бессарабии, чтобы бабушка помогала ему воспитывать своих маленьких внуков. Между двух заседаний бракоразводного процесса, когда решался вопрос, с кем будут жить младенцы Симон и Раиса, их бабушка Клара Львовна Берг (в девичестве — Бернштейн), по настоятельной просьбе сына Льва Семеновича, быстренько съездила из Петербурга в Финляндию и там приняла крещение, вероятно так же, как и он, выбрав Лютеранство. На суде было представлено доказательство, что дети будут воспитаны в христианской семье. Отец зарабатывал в то время достаточно. Доходы его также сыграли немаловажную роль в принятии судом “христианского” рокового решения — отобрать обоих его крошечных детей у еврейской матери.

У неё было четверо детей, вот их и поделили пополам — две старшие дочери останутся с мамой, а двое младших — дети Берга — по решению суда, будут жить в семье отца. Но это ещё не всё.

Сразу же после решения суда, не дожидаясь исполнения “приговора”, Лев Семёнович просто похитил своих детей. Молодая няня гуляла с детьми в Таврическом саду. Моя шестимесячная мама Рая сидела в колясочке, рядом шёл её двухлетний братик Симочка. При выходе из сада к ним подъехала коляска, вернее, карета с кучером,



Мария Филипповна Маслова (няня) с Симоном
и шестимесячной Раей. Октябрь 1913

и их насильно посадили в эту карету вместе с молодой и глупой нянькой. Лошади понеслись. Привезли домой, к отцу, где их ждала бабушка. Затем Берг увёз детей из города, где жила их мать, на юг — в Мелитополь, к своей родной сестре Мусиньке, жене известного аптекаря Райха. По-видимому, решено было их скрывать от обезумевшей от горя матери.

Есть в архиве Р. Л. Берг поразительная фотография Симона и Раи, сделанная в Мелитополе именно в октябре 1913 года. Дети на ней смотрят такими грустными и полными неизъяснимой тоски глазами. Я ее называю “Дети, потерявшие свою любимую маму”.



Л. С. Берг с детьми в 1916 году. Симону 5 лет, Рае — 3 года

После нескольких месяцев, проведённых у дяди и тёти Мусиньки, которые, надо отметить, были замечательными людьми, любящими детей, Рая с братом переехали с отцом в его московскую квартиру. В Москве, где Л. С. Берг работал с 1914 года, дети жили с отцом до 1918 года. Там, в 1917 году, была сделана ещё одна замечательная фотография — Л. С. Берг с детьми, четырёхлетняя Рая — на коленях отца. Эту фотографию можно увидеть в книге воспоминаний моей матери Р. Л. Берг “Суховой”, издания 2003 года. И



Л. С. Берг с детьми, Мелитополь, 1917

снова у детей — щемяще грустные лица.

Там с ними тоже была бабушка и старая няня, которая прожила в семье отца (Берга) 28 лет. В начале войны, в 1941, дед с женой были эвакуированы в Казахстан, а няню — Марию Филипповну Маслову — оставили в блокадном Ленинграде “сторожить” квартиру. Вскоре старушка умерла от голода и истощения, той же страшной зимой, когда вымерло почти всё население осаждённого немцами города.

Скорее всего, все эти годы моя бедная бабушка Паулина даже не знала, где находятся её дети Симон и Раиса.

Большая квартира в центре Москвы, по словам моей мамы, была довольно роскошная. Она её помнила. А маму свою, Паулину — совсем не помнила, в отличие от брата Симона, успевшего мамочку страстно полюбить. У него, к тому же, была очень ранняя и феноменальная память...

После революции в стране разразилась гражданская война, начался страшный голод. Отец, Лев Семенович, опять решил отправить голодных детей с бабушкой в Мелитополь на Украину, к той

самой “тёте Мусиньке” — своей сестре Марии Семёновне, жене богатого владельца аптеки Григория Моисеевича Райха. Там они питались намного лучше, но несколько лет не видели ни отца, ни няни. А уж тем более — матери.

Страшные военные события этих лет описаны в той же книге “Суховой”:

“В городе свирепствовали эпидемии. Очень боялись сыпняка — сыпного тифа. Я слышала, как кричал сосед, умиравший от холеры. Тётя Мусинька говорила, что двое сирот осталось.

Уберечь нас с Симом от кошмарных впечатлений войны с немцами и Гражданской войны не было никакой возможности. Немцы чинили на площадях суд и расправу. Заподозренных в краже граждан публично секли розгами. Немцы исчезли. Началась Гражданская война. Город семь раз переходил из рук в руки. Белые, красные, махновцы, зелёные занимали город. Соблюдать гигиенические правила становилась всё труднее.

Ни «белые», ни «красные» не трогали дядю Гришу. Для «белых» он был буржуй, заведомо враждебный «красным». Для «красных» он был тем, чем он был на самом деле — человеком, готовым помочь бедняку в беде, великим доброжелателем всякого правого дела. Но вот в Мелитополе появилась Маруська — предводительница банды махновцев, как они себя называли, хотя не имели никакого отношения к анархистскому движению, связанному с именем Махно. Маруська явилась грабить дядю Гришу. Потом уже рассказывали, как она сорвала с груди тети Мусиньки золотую брошку. Девять бриллиантов. Семейная драгоценность. Она не брала хлама. . .

Мы с Симом спали. Бабушка разбудила нас. Вместе с нею в комнату вошли два здоровенных казака в бурках и папахах. Винтовки у них были в руках, не за плечами. Штыки примкнуты. Света не было. Электростанция города вышла из строя. В комнате было светло — город горел. Мы несколько не испугались. Бабушка была совершенно спокойна. Каждого из нас, очень бережно, одного за другим, она взяла на руки и перенесла на диван. Казаки вспороли штыками наши матрасы. Подозрение, что золотые клады запрятаны в детских матрасах, не подтвердилось, ничего не звякнуло при ударе штыком, и они ушли. Силуэты людей в папахах и бурках, квадраты их плеч, винтовки и штыки на фоне больших, освещённых пожаром окон отнюдь не были моим самым сильным впечатлением той ночи.

. . . Прикосновение грязной и жёсткой обивки дивана к моей голой коже — вот что было мерилom бедствия. Бабушка не была спокойной, происходило нечто ужасное. Бабушка боялась за нас. Гра-

бежей дядя, тетя и бабушка не боялись. Добром не дорожили. Пропало — и чёрт с ним. Работяги — наживём. . . Да и много ли надо.

Но настало время и им задрожать. На улицах шли бои. Слышна была канонада. Комнаты с окнами на улицу стали необитаемы. Происходило то самое, что поэт описал словами:

А в наши дни и воздух пахнет смертью:
Открыть окно — что жилы отворить.

Поспешно собрались, и всем семейством отправились в Бахчисарай, где прожили всё лето, а осенью вернулись в Мелитополь. Все еврейские дети, которых не скосили эпидемии, там были целы. Слухи о том, что надвигаются войска — не то латыши, не то — китайцы, причём с целью резать еврейских детей, не оправдались.”

Далее Р. Л. Берг вспоминает:

“Советская власть победила. Дядю Гришу вышвырнули из его прекрасной квартиры. Аптеку он сам передал в собственность государства и остался работать в ней фармацевтом. Он умер в 1937 году, а тетю Мусиньку в 1941 году убили немцы в числе пятнадцати тысяч мелитопольских евреев.

Отец приехал за нами и забрал нас с братом и бабушкой, когда гражданская война на Украине кончилась, в 1921 году.”

Отец был страшно разочарован: дети его говорили на чудовищном русско-украинском жаргоне, Райка и Симка были вульгарны и “предельно грязны”. У них была дворовая собака “Дамка”.

Когда, наконец, в середине 1921 года дети вернулись в Санкт-Петербург, их мама всё же смогла добиться свидания с ними, но только “на территории” отца, в его квартире. Представьте, как она волновалась перед свиданием со своими малютками, которых она не видела столько лет! Принесла подарки: книжки с картинками и конфеты. Когда она пришла, Симон сразу её узнал и бросился к ней: “Мама!” За это его наказали, так рассказывали старшие сёстры.

А Рая? Младшая дочь Рая ничего не помнила и не могла узнать свою маму. . . Она очень дичилась, не хотела к ней даже подходить, и тем более разговаривать. Мама ей не понравилась. . .

Почему? Я спрашивала мою старенькую маму:

— И что же тебе в ней не понравилось?

Ответ её очень меня поразил:

— В ней было что-то мещанское. . . У неё была какая-то мещанская шаль.

И это всё. Больше никаких воспоминаний. Она приходила всего несколько раз.

Когда вскоре Лев Семенович собрался жениться вторично, его новая жена Мария Михайловна предложила ему отдать детей матери. По-видимому, они ей были не очень симпатичны и вели себя не совсем правильно. Симон однажды подложил ей в постель дохлую крысу, под одеяло. Как вела себя “настырная”, гордая и упрямая Рая, точно не известно. Мама нам с сестрой, конечно, ничего плохого о себе не рассказывала. Но восьмилетняя Раиса, с её сложным и страстным характером, должна была научиться скрывать свою жгучую ревность к этой чужой женщине, которую полюбил её обожаемый отец, ведь она в нём души не чаяла. Быть мачехой — простое дело. Дети ей были не нужны. . . Вот и посоветовала Марьямиха вернуть детей их матери. Её вызвали. . .

Паулина сразу же пришла, волнуясь необычайно. И поняла, что восьмилетняя Рая относится к ней чуть ли не враждебно. Ни намёка на улыбку. Тоска в глазах, горестное понимание угрозы разлуки с любимым отцом. А старший брат Симон был бы счастлив жить с мамой. Он её ни в чём не винил. Он всё понимал и, наверное, пытался повлиять на сестру, но Рая даже не захотела подойти к маме. Мать поняла, что для младшей дочери она стала совсем чужой и какой у неё трудный характер. . . Она так сильно любит отца и брата. . . Паулина с отчаянием осознала, что либо надо разлучать горячо любивших друг друга брата с сестрой, либо отказаться от мечты — вновь обрести своих потерянных детей. Не справиться, думала она, слишком сильна у Раи внушённая отцом отчуждённость и даже, возможно, обида и ненависть. . . Что говорил им о ней отец и бабушка? Может быть, что она плохая мать и их бросила? И она вынуждена была отказаться. Ради них самих.

Эти несчастные дети, выросшие без материнской ласки и заботы, очень крепко держались друг за друга. Отца они видели крайне мало и редко. Брат Симочка заменил моей маме Рае и отца, и мать. Он был её учителем, воспитателем и утешителем. Он её целовал. . . А старая няня не целовала никогда.

Однажды Рая её спросила:

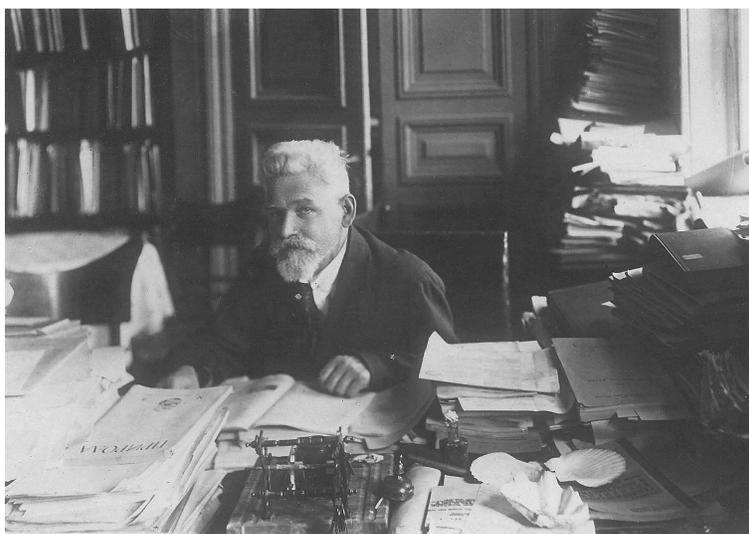
— Няня, а ты что, не любишь меня?

Няня ответила:

— Почему ж не люблю? Знамо, люблю, но не целовать же тебе!..

А когда отец женился, его новая жена настояла на том, чтобы её свекрови в доме не было. И Лев Семенович отправил бабушку — свою мать — домой, в Бендеры. В результате дети остались жить с отцом и с мачехой Марьямихой. Любимую свою бабушку Клару они уже больше никогда не увидят. . .

У Раи отношения с Марьмихой были очень непростые, трудные и противоречивые. Она её все же постаралась полюбить. Так она сама говорила. Но мачеха была строгая, уязвимая и жадная до абсурда. Она стояла на страже спокойствия отца, который был полностью поглощён своей любимой наукой. Дети его видели ещё меньше, чем прежде. Он узнавал об их успехах и поведении только от неё. Мамино детство было полно обид и унижений, и чувство оскорблённого достоинства её не покидало... Сколько ужасных историй о своей жизни с мачехой она нам рассказывала!



Л. С. Берг в своём кабинете. Ленинград, 1930

А бабушка моя Паулина все годы до самой смерти горевала о своих потерянных “малютках”.

Письмо от маминой кузины Анны Бенедиктовны Катловкер, отправленное из Москвы в Америку моей матери Р.Л. Берг в начале 1977 года, попало мне в руки уже после смерти мамы. Вот что написала моя тётя Нюся о своей тёте Паулине — родной сестре её отца:

“Дорогая моя, самая младшая сестричка, получила Ваше письмо от 22 февраля и очень огорчилась. Я вполне согласна с Вами, что исток всех Ваших злключений можно считать развод Ваших родителей. Вместо ласки и любви, обычной в нашей семье, Вы очутились за бортом, в лапах гадкой и злобной мачехи, которая вы-

мещала на Вас всю паскудность своей натуры. Главное её преступление, что она вкупе с Вашим отцом, лишила Вас матери, солгав о её вымышленной смерти и всячески очернив её образ.

Ваша мать, а моя любимая тетя (младшая сестра моего отца) была человеком прекрасной и чистой души. Она любила людей, всегда помогала, чем могла, была типичным представителем конца XIX века — полная лиризма, нежности и поэзии. Нас жизнь свела в эвакуации в Куйбышеве, накануне её смерти. До последних своих дней она страдала и оплакивала столь жестоко оторванных от неё малюток, и я, уже имея своего ребёнка, до глубины души понимала её вечно живую рану, её огромную, нерастраченную на вас любовь. Поэтому Вы не должны так ощущать Лизу; она сейчас заблуждается, но она должна знать, что есть человек на свете, который её всегда примет с любовью, всегда подаст руку помощи как ей, так и её сыну.

Иначе повторится та же картина невыясненных недоразумений, сломанных судеб, душевных травм. Пройдет время, и она увидит своего супруга в неумолимом свете — и тогда не должно быть барьеров между ею и Вами. Я старше Вас, прислушайтесь к моим словам.

... Пришлите мне карточку, а то у меня лишь та маленькая фотография, которую Вы оставили Тале¹. 23 марта годовщина её смерти, но я никак не привыкаю и всё время терзаюсь этой неумолимой разлукой. Скоро настанет весна, и я вплотную займусь установкой памятника.

... Я всё стараюсь войти в колею и не омрачать собой окружающих. ... Обещаю больше не допускать таких перерывов. Я Вас, Раечка, очень люблю и меня касается и волнует всё, связанное с Вами. Помните, что очень далеко есть близкий Вам человек. Такое сознание согревает жизнь.

Целую много, много раз.

Нюся.”

¹Талья — Наталья Бенедиктовна, родная сестра.

Мой папа



Валентин Сергеевич Кирпичников

Валентин Кирпичников и Раиса Берг очень понравились друг другу ещё в 1939 году, до войны. Валентин был тогда женат, имел двух прелестных маленьких дочек. Чтобы уберечь себя от греха, Раиса решила тогда срочно выйти замуж за другого — вполне приличного и любящего её человека. А отец пошёл добровольцем в Армию. Но ничто не помогло... Фоном их запрещённой моралью страсти стала именно война, бросив их в объятия друг друга во время страшных московских бомбёжек 1941 года.

Война рифмуется с разлукой, а для моих будущих родителей длилась она более пяти лет. Их встречи были короткими и ждали их долго-долго... Но между ними шла напряжённая и страстная переписка. Оба они страдали от этой разлуки гораздо сильнее, чем от тягот и бедствий войны. Важнее всего для них обоих, особенно

для матери, были эти доставленные полевой почтой доказательства любви, а война отступала на дальний план. В военные годы, насколько мне известно, отец вначале работал радистом, а затем — врачом-эпидемиологом. Никого не убивал.

Нам с сестрой повезло. Моей будущей матери во время войны удалось спасти от смерти своего любимого (нашего папу), заболевшего брюшным тифом, после этого их любовь ещё сильнее окрепла. Однако в конце войны между ними произошёл разрыв, и довольно длительный.

И вот, несмотря на все эти преграды, произошло очередное чудо — отец вновь сумел завоевать её доверие и любовь, когда он, наконец-то, был демобилизован в 1946 г. и вернулся в Москву. Там они и поженились. И сразу стали мечтать именно о дочери — Лизочке (и имя это уже было задумано матерью за 13 лет до этого — когда она играла с маленьким Митей, которого родила в совсем юном, 19-летнем возрасте).

В те послевоенные годы семья проводила лето на Валдае, в деревне Яжелбицы. У папы где-то там неподалёку были пруды, где он занимался селекцией рыб. Там же, в деревенской избе, 20 августа 1948 г. родилась сестрёнка Маша. (Как раз во время Августовской сессии ВАСХНИЛ, на которой произошёл исторический разгром генетики, и мать лишилась работы на долгие шесть лет — её уволили прямо из декретного отпуска.)

В памяти, глубоко зарытыми, сохранились лишь отрывочные воспоминания о чудесном папе, но эти эпизоды раннего детства, эти драгоценные картинки очень живо были окрашены ощущением счастья всеобщей взаимной любви. Папа много работал, редко бывал дома, и когда ему удавалось уделять время семье, его присутствие всегда было событием, к нему готовились, его ждали, как ждут праздника. Запомнились моменты особенного возбуждения и безудержного веселья. После томительного и волнующего ожидания столь желанной встречи — смех и радость, и такие яркие, смеющиеся папины глаза! Был случай, когда папа поднял меня и посадил к себе на плечи, чтобы перейти вброд через мелкую речку — или ручей? — с ледяной водой. Это был и рыцарский поступок, чтобы дочке не пришлось топтать по холодной воде, и тот редкий физический контакт, от которого дух захватывало. . . А папа казался таким сильным и высоким, как сказочный герой. . .

Там, в Яжелбицах, самым ярким и сильнейшим впечатлением моего раннего детства оказалась корзинка, наполненная до краёв свежесобранными грибами невероятной красоты. Вот это игрушки!



Раиса Львовна Берг с Лизочкой

Какие же они прелестные — глаз не оторвать! Я просто влюбилась в грибы с первого взгляда! И прогулки по лесу в поисках грибов вскоре превратились для меня в самое любимое занятие — вот какое запечатление образа! Или — “одна, но пламенная страсть”. Оказалось, что папа тоже был заядлым грибником. Родители, ещё до войны, на самой заре их долгого романа отправились вместе именно в лес за грибами. Их первые поцелуи — там, в лесу — и были тем зародышем моей страстной любви к лесу с деревьями, мхами, травами и грибами.

В 1950 г. переехали окончательно в Ленинград. Поселились сначала в тринадцатиметровой комнате в коммунальной квартире

— напротив дома на проспекте Маклина, где была дедовская большая квартира. К концу года умер дедушка, обожаемый мамин отец — Лев Семёнович Берг, которого трёхлетняя Лиза, как льва, ужасно боялась и стеснялась. На заданный мне вопрос: “Как дедушку зовут?” — я сказала: “Карп”, назвав имя его легендарного кота, моего ровесника.

С лета 1951 года стали жить на доставшейся маме по наследству даче в Комарово, подаренной в 1947 г. деду-академику самим Сталиным. Развели клубничные грядки, малинник и цветник, и даже небольшой огород. Мама занялась ботаникой и впоследствии защитила докторскую диссертацию по корреляционным плеядам у растений. А до этого написала книгу воспоминаний о своем отце — великом географе: “По озёрам Сибири и Средней Азии”.

Наш отец (“Кирпичик”, как называла его мама) бывал дома очень нечасто, всё больше пропадал в командировках, ездил на свои пруды или уж не знаю куда ещё — видели мы его всё реже и реже. . .

Отец был крайне увлекающимся человеком. Он был со страстью влюблён — постоянно. Во-первых, в науку, в свои исследования, а во-вторых, в прекрасный пол — женщины в его жизни играли важнейшую роль. Он никогда не жил один, без женщин; всегда возле него находилась Та, которая его обожала и ухаживала за ним с беззаветной любовью и преданностью. Сам он тоже отлично умел обольщать, ухаживать и заботиться, но это обычно случалось в начале романа. А дальше — очень быстро оказывалось, что какая-то другая женщина стремилась его завоевать. Рождённый 14 августа, под астрологическим знаком “Льва”, отец обладал темпераментом огненной природы, вовлекая в безумную стихию огня своей страсти множество слетевшихся на свет мотыльков. Поэтому он вечно жил в полнейшей нищете и в крайне стеснённых жилищных условиях. Но это его не сильно занимало. Наука и борьба за справедливость увлекали его всю жизнь настолько, насколько может быть поглощён игрой маленький мальчик и, благодаря этим страстным увлечениям ему удавалось меньше страдать. . .

После развода родителей мы с отцом не виделись почти 14 лет. Встретились, когда мне было уже 19 лет, он меня не узнал. Мы, однако, сразу подружились. . .

А в январе 1976 года, когда мне было 28 лет, я с мужем и годовалым сыном уехала из страны Советов — навсегда. Мы эмигрировали

во Францию, где вскоре получили статус политических беженцев. И снова разлука с отцом длилась целых 12 лет. Но переписывались мы регулярно.

В 1988 г. мне удалось, уже с французским паспортом, приехать с детьми в Ленинград и познакомить отца с его внуками. Радость его невозможно описать. В 1989 году, когда родился мой третий сын Митя, отец приезжал к нам в Париж. Через три года, в 1991 году он умер, и мне даже не удалось получить визу, чтобы приехать на его похороны.

Отец меня очень любил. Написал мне перед смертью прекрасное письмо. Вероятно, не будет преувеличением, если я скажу, что из всех его детей я была единственным желанным, как теперь говорят, “запрограммированным” ребёнком.

Вот отрывок из его письма от 7 декабря 1987 года.

“Сейчас в Саратове, Москве и Ленинграде прошли юбилейные Вавиловские чтения. В Саратове (3 дня) я доклада не делал, но выступал с воспоминаниями трижды и открывал памятную доску на здании, где в 1917–21 г. работал Вавилов. Он и умер в Саратове, в тюрьме, в 1943 г. (теперь все подробности опубликованы) — а жена и сын его в это время были там же в эвакуации и до 1956 г. ничего о нём не знали!

В Москве было торжественное заседание двух академий и Общества Генетиков (ВОГиС им. Вавилова), а затем 5-й Всесоюзный Генетический съезд (5 дней). На нём я выступал с вечерней лекцией о Н. К. Кольцове (удачно) и с двумя (!) докладами о гетерозисе (тоже прилично). А потом в Ленинграде (4 дня) снова торжественные заседания с докладами и воспоминаниями. И опять мой доклад — о селекции на устойчивость к заболеваниям! Всего 4 доклада за 9 дней, и это было трудно — все на разную тему, и ко всем надо готовиться. После Ленинградского доклада (в последний день, 3-го декабря) я вымотался так, что еле добрёл до дома.

Но я рад, что наконец-то Вавилову отдали должное, назвали нескольких доносчиков, дали оценку всей обстановке того времени. Его могли бы спасти, если бы не война, если бы его не забыли там, в Саратове; было уже постановление о его использовании в “шарашке” — и его не выполнили!

А я — опять воюю. Плохо у нас с генетикой, нет крупных людей (и очень мало их и в других науках — спад явный; а в генетике — хуже всего). Послал записку в ЦК о положении в генетике, о тяжёлом провале с кадрами. Воевать приходится с новым президентом — это недалёкий чиновник и он окружил себя референтами — держимор-

дами. Моя записка — и пара других — попала ему в руки, но, боюсь, толку от этого будет мало. Хотя всё-таки решили собрать летом в Москве представительное совещание — для обсуждения организац. генетических проблем. Какие дурни выбрали Марчука президентом — не знаю, но вреда он принесёт много, глупый властолюбивый бюрократ очень опасен. М.б., сам он себе навредит — весьма вероятно!”

Комарово

Там было столько комаров, что мы считали название это вполне оправданным, не подозревая о ботанике Комарове. А раньше, до Финской войны, этот посёлок назывался Келомяки. Следующая станция — финский городок Териоки получил название “Зеленогорск”, а предыдущий, дачный посёлок Куоккало, где расположена усадьба великого художника Ильи Репина, переименован в “Репино”.

Однажды ранней весной, когда мы с сестрой проводили там весенние каникулы, катались на лыжах по замёрзшему и запорошенному снегом заливу, под ярким мартовским солнцем, к нам приехали мамыны подружки со своими мужьями — праздновать мамин день рождения — 27 марта. Мне тогда было лет 11. Точно. Потому что они пели: “Сорок пять. Баба ягодка опять!”. Нам с сестрой — смешно. Вот так ягодка — такая солидная “баба” с сединой в волосах. Но дальше — больше. Они все выпили, закусили и запели уже вовсе неприличные куплеты, сочинённые по дороге к нам.

Ехали к Райке,
Какали в сарайке. . .
Дело было около
Станции Куоккало.

Мы с мамой впервые приехали на дачу в Комарово летом 1951 года, мне было 4 года. На нашу розовую дачу с голубым забором. Этот новый дом, подаренный деду Сталиным в 1947 году, достался маме в наследство от её отца, а моего деда — академика Льва Семёновича Берга.

Дед умер в декабре 1950 года, мне было 3 с половиной, и я его всё-таки помню немножко. Старенький дедушка, с его седой бородой, да к тому же именуемый “Лев”, внушал мне какой-то непонятный страх. Был смешной эпизод, когда меня спросили, как дедушку зовут, я страшно смутилась и, не без лукавства, сказала: “Карп”. Так звали его полудикого, громадного кота, моего ровесника, пережившего деда ещё на 17 лет. Дедушке эта моя детская “шутка” очень понравилась, и он долго хохотал, повторяя:

“Да, да, деточка, всё правильно, меня зовут Карп!”

Прекрасно помню, как мы с мамой шли по заросшей тропинке, ведущей от сторожки к даче. Густая, высоченная трава по краям

тропинки значительно превышала меня ростом. Я шла, как лилипут в лесу, в направлении громадного — так мне тогда казалось — нежно-розового дома. Лиловые внизу, а выше оранжевые стволы стройных сосен казались невероятной высоты — до самого синего неба. Моё любопытство было до предела возбуждено.

С дачи раздавалось мелодичное и звонкое пение девических голосов. Как раз в это утро девушки мыли окна к нашему приезду, пели и смеялись. Мама спросила у них, когда мы вошли в пустой дом: “Чем же вы окна-то моете?”

Они со смехом отвечали: “Тряпок мы не нашли — так своими трусами моем!”

А за открытыми окнами, в солнцем пронизанном лесу, птичий оркестр восславлял праздник жизни.

24 марта 2004 года вдруг получаю по электронной почте такое письмо из Москвы, (автор этого письма — Юра Артемьев, он же “Котя” загадочным образом нашёл меня ровно через полвека — во Франции):

“Лиза!

Если ты помнишь, был однажды такой случай. На даче в Комарово где-то в 1953 году гостил у вас мальчишка 15 лет, тебе было 6, а Машке — 5 лет, была на даче замечательная Элен-Дуар, няня-француженка, а в маленьком домике жила балетная девочка Марина Годлевская.

По соснам лазил совершенно независимый, серо-голубой с поперечно-полосатым коротким хвостом кот Карп и ловил птиц, вылёживая в засаде иногда целыми днями.

По окрестностям бродили Евгений Шварц и Виталий Бианки, и на старом немецком велосипеде в белой панамке ездил Дмитрий Шостакович с авоськой, наполненной молочными бутылками.

Твоя мать — Раиса Львовна — с блокнотом, карандашом и линейкой лазила по зарослям наперстянки *Digitalis* и учила меня, по ходу дела, вариационной статистике.

Всё это во мне как-то отразилось и закрепилось на долгие годы. Юра Артемьев.”

“Котя, очень трудно отвечать полвека спустя... «мальчику» из счастливого детства, ставшего фоном и сокровищницей всей последующей жизни.

1953 год. Впечатление такое, что тебе удалось приоткрыть на мгновение... крышку шкатулки, найденной в глубине пластов времени — глубоко зарытого клада, а там...

Залитая солнцем веранда, увитая цветущей турецкой фасолью, и музыка — неаполитанский танец Чайковского, а мы, дурёхи, хихикали и пели:

«У-ва-жа-е-мая баб-ка — уважаемая бабка»...

Имелась в виду наша 40-летняя мамаша. Прелестная балерина-Марина танцует, а мы все были в неё влюблены... Как прекрасно она танцевала! У неё был такой сногшибательный балетный наряд — совершенно настоящий, пачки и атласные розовые тапочки — нам, девчонкам, на зависть! И как ты на неё смотрел, а я, за тобой наблюдая, её к тебе ревновала, считая её моей и больше ничьей. Уже наблюдались собственнические инстинкты и связанные с ними ранние уроки будущих страданий.

А твоя мама — такая милая, добрая и женственная — тоже за тобой исподтишка наблюдает и беспокоится. Её материнское сердце сжимается, предчувствуя твои страдания от неразделённой любви, ты ещё такой юный и недостаточно привлекательный для итальянской красотки Мариночки. Ей тогда было тринадцать с половиной, как Джульетте, а тебе — пятнадцать, как Ромео.

Ты был такой высокий, что приходилось на тебя смотреть, задрав лицо, и это слегка раздражало.

За столом на той же веранде наши мамы рисовали абажуры для ламп. Такие красивые абажуры, с оранжевыми цветами вроде настурций, цветущих по краям крыльца веранды и вдоль дорожки.

Мы с сестрой тоже часто там рисовали. Потом наши картинки даже попали на выставку детского рисунка в Русский Музей.”

Евпатория. Раковины и отвага

Тем летом 1953 года, когда мне — Лизе — только что исполнилось шесть лет, а моей младшей сестрёнке Маше было почти пять, мы впервые в жизни поехали с мамой на юг, в Черноморский курорт Евпаторию. Дело в том, что у Маши за полгода до этого начались тяжелые приступы бронхиальной астмы, а я к концу весны вдруг стала слегка заикаться и, что ещё хуже — хромать, почему-то ставя правую ступню на ребро. Врачи и друзья настоятельно советовали нашей маме именно там лечить наши серьёзные недуги.

Как ни странно, но все эти симптомы появились вскоре после того, как семья распалась. Ещё прошлым летом наш папа полюбил молодую женщину — мамину подругу, которая снимала комнату на маминой даче. Маме тогда было “уже” тридцать девять лет, а Людмила эта, моложе её на десять лет, всё ещё была не замужем, и детей у неё не было. Как тогда говорили, “засиделась в девках”...

Что ж тут удивительного, что она в него влюбилась — да ещё как! — в такого очаровательного папу? И дочки его ей очень понравились. Она с ними поиграла немножко, и ей страшно захотелось ребёночка от него родить. Она мечтала о сыне, ведь дочерей у него и так хватало. И она таки добилась своего, и стала его последней, четвёртой по счёту женой, но родила не сына, а дочь, пятую папину дочь.

И вот, мама решительно отказалась играть предложенную папой комедию — для детей и общества. Будто бы всё у них в порядке — нормальная семья, в то время как он будет жить с другой женщиной, и там тоже будет “нормальная семья”. Мама предложила ему выбирать. Никаких компромиссов в этой сфере — любви и семейного очага — она решительно не признавала. Мама ужасно обиделась на папу. На всю оставшуюся долгую жизнь. Не думаю, чтобы он сам смог тут же принять роковое решение — покинуть жену и маленьких дочек. Он, конечно же, уговаривал её, и не в первый раз “по возможности, сделать усилие, чтобы его простить”. Тогда она просто выгнала своего несчастного неверного мужа и категорически запретила ему приходить в дом, чтобы повидаться со своими малыми детками. Он, конечно, тоже дико обиделся, и в гневе наделал массу “глупостей”, мягко выражаясь... А вернее, в злобе на маму, даже дошёл и до подлостей, пытаясь ей навредить и всячески

её опорочить, чтобы общественное мнение осудило именно её, а не его. Значит, и у него не обошлось тогда без страданий.

Папа исчез, стали привыкать жить без папы. Мама в своём горе не скрывала от детей, что папа у них — последний негодяй. Само собой разумеется, понять всё это в пятилетнем возрасте — совершенно невозможно. Младшей — Маше — было всего четыре года.

Когда её потом спрашивали, куда же делась наша прекрасная Маша, она грустно отвечала:

— Маруся уехала в деревню и женилась на другой. . .

Сама я успешно притворялась, что всё понимаю. Даже сравнивала папу с “Тенью” Евгения Шварца, но на самом деле я просто должна была примириться с мыслью, что мы втроём — “брошенные”, а для этого наилучшим лекарством было забвение. Чтобы не страдать, например, от вечной разлуки, надо просто забыть. Что мне вполне удалось на всё оставшееся время моего детства и отрочества. Я страстно увлеклась игрой в числа, математические расчёты уже с пяти лет сильно занимали моё воображение. Из-за чисел никто не страдал. С тех самых пор психологические драмы, свидетелем которых я невольно стала, мне внушали невероятную скуку и отвращение. Это было нечто подобное прививке от страданий. . . Про этот страшный период развода моих родителей я задумалась всерьёз лишь после того, как мне самой пришлось разводиться с мужем, имея пятилетнего сына.

Так вот, летом мы втроём отправились лечить свои раны в Евпаторию, на Чёрное море. Заикание у меня к тому времени уже почти совсем прошло, ещё на даче в Комарово, после муторных занятий с мамой и няней, когда мне приходилось терпеливо петь — час или даже два часа подряд: “Ба-бо-бу-у-у”, “да-до-ду-у-у” и всё в таком роде. . . Скучища. Но, “терпение и труд — всё перетрут”, “лечение” помогло. А хромать я продолжала.

В Евпатории мама возила меня к совершенно слепой старушке — массажистке. Её волшебные “зрячие” руки и вылечили меня от хромоты, причём, за какие-нибудь пять или шесть сеансов массажа. Эти руки невозможно забыть! Какое это было особенное ощущение — тёплая сила её рук на моих нежных детских ступнях! Непостижимая, добрая энергия чудесным образом лечила навсегда.

С Машинным недугом справиться было гораздо сложнее. Грязи, стонь знаменитые своими лечебными свойствами — не помогли, они снизили силу и частоту приступов её астмы, но лишь ненадолго. Дома всё возобновилось, к ужасу бедной мамы. Машина болезнь не поддавалась быстрому лечению, её причина крылась в наследствен-

ности. Половина папиных детей унаследовала от него эту проклятую астму.

Но не про это рассказ. Это — присказка. Сказка будет впереди.

Море там, на юге, оказалось вовсе не “Чёрное”, а Синее-пресинее. Это был мой самый любимый цвет. Ещё в раннем младенчестве я всё красивое и любимое почему-то связывала с этим цветом. Гречневая каша у меня называлась — “Синенькая каша”. Самые прелестные цветы, чашки, тарелки или платья были именно синего, василькового цвета. На худой конец, голубого. Котёнка нашего звали “Васька-Висилёк”, (именно Висилёк, а не Василёк), хотя он был чёрно-белой масти. А Финский залив Балтийского моря, на берегу которого мы проводили всё лето последние два года, почти всегда был не синего, а серого цвета, иногда — нежно-голубого, почти белого, но никогда мы не видали настоящей синевы огромного пространства моря. Это южное впечатление было потрясающим.

Женский пляж в Евпатории, к сожалению, был настолько переполнен голыми телами загорающих курортниц всех возрастов, что песка почти не было видно, везде — жирные, большие и противные бабы, шум, гам, негде поиграть в песочке. И вот, под конец пребывания на этом южном курорте, мама повезла своих девчонок далеко, на лиман, где было совсем пустынно, там вообще никаких людей на всём обозреваемом пространстве бесконечного и широченного пляжа не было видно. Ехали туда долго, почти час, на трамвае. Лиман — это такой мелкий морской залив. Когда мы шли к нему по плоской поверхности степи, соль выступала повсюду, казалось, что нет никакой земли, непонятно, как тут всё же могли расти какие-то жалкие и немногочисленные травки. Местами потрескавшаяся корка состояла из чистой соли. Это было странно, необычно и почему-то внушало тревогу.

Зато пляж на мелководном лимане оказался удивительного розоватого цвета, солнце ласкало кожу, жары уже не было, и мы с сестрой сразу же бросились с азартом собирать чудесные, по большей части малюсенькие, раковины. Наверное, мельчайший, розоватых оттенков песок образовался из этих растёртых ракушек. Тёплое и ласковое его прикосновение — наслаждение для босых ног.

Наша мама, в задумчивости, сидела на песке и не участвовала в сборе ракушек. . . Она грустно смотрела на залив, на причудливые тона набегающих волн, и предавалась своим воспоминаниям о счастливой семейной жизни. . . И печальном её конце. . . Она ужасно страдала, потому что страстно любила нашего папу, а теперь вышло, что она полюбила негодяя, который бросил её как ненужную,

старую, использованную вещь. Забыл, как она спасала его от смерти во время войны, рожала “от него” (раньше принято было говорить “ему”) детей, щедро и самозабвенно дарила ему себя, всё, чем была богата. . . Пригрела на собственной груди . . . змею!

Не на том ли пляже мама сочиняла такие стихи:

Был у нас когда-то папа.
 На рояле он играл.
 И Бетховена сонаты
 Каждодневно исполнял.
 Но потом, сойдясь с другою,
 Он оставил свой рояль. . .
 И окончилась бедою
 Нашей жизни пастораль. . .

Тут девчонки позвали маму полюбоваться своими находками. Сестры-погодки собирали совершенно разный ассортимент, в соответствии со своими прямо противоположными интересами и взглядами на жизнь. Вот как мама описывала в своих воспоминаниях эти “коллекции в коробочках”:

“Дома, в Ленинграде, мы решили посмотреть на собранное. Лизины раковины — восторг и восхищение. Нежные, чистые, розовые, лиловые, оранжевые тона их глянцевитых изнанок переходят в чистейшую белизну, в белизну пены. Великий ваятель создавал рубчатые своды лицевой стороны раковин, лучи вееров, красоту линий края.

. . . Машу, видимо, привлекала сумрачная красота фантастических хитросплетений выброшенных на берег водорослей. За их чёрными ключьями следовали белоснежные камешки, кусок кирпича или керамики, голубое матовое стёклышко, превращённые морем в гальку, клешня краба, персиковая косточка, позвонок рыбы и ещё дальше шли кусочки раковин. Море поработало над ними. Маша не взяла горстку ракушечной гальки, а по одиночке выискивала крохотные скульптуры, изваянные из раковин миллионами соударений на протяжении миллионов лет неутомимым шлифовальщиком, подвижной стихией моря. Слепой случай выточил сердечко, лодочку, кувшинчик, розовый лепесток розы, молодой месяц нежного лунного цвета и просто божественную красоту.

На самом дне коробки, на песчаной подушке лежали остренькие раковинки, павшие на поле боя солдаты армии прибоа. Этим раковинкам-башенкам мы обрадовались больше всего.”

Но вернёмся снова на пляж лимана. Пока мама разглядывала

сокровища и “морские игрушки”, найденные дочками, её портфель, где находились купленные уже обратные билеты на самолет, деньги, паспорт и прочие ценные бумаги и нужные предметы, стоял на песке посередине пустынного пляжа. Она и не думала в этот момент о своем портфеле. Но вдруг мы уловили едва слышимый скрип песка, кто-то шёл очень быстро. Мы все сразу обернулись и увидели вора, быстро удаляющегося от нас, но не бегом. Мама в ту же секунду стремительно бросилась его догонять, и догнала. Стала смело вырывать у него портфель. Что она кричала? Ну конечно же! Она в ярости кричала: “Ах ты, бандит!”

Когда мы обе добежали до них, запыхавшись от быстрого бега, маленькая Маша уже плакала навзрыд. У нас на глазах началась отчаянная драка. Вор, главным образом, дрался ногами. Свободной у каждого оставалась только левая рука, правой они оба крепко вцепились в портфель. Когда вор повалил маму на песок, она закричала:

— Лиза, беги на дорогу, останавливать...

Не дослушав, я уже неслась с немыслимой скоростью в сторону шоссе, параллельного берегу лимана. Метров триста отделяло дорогу от пляжа, но ведь я была крошечного роста, расстояние показалось мне огромным. По этому шоссе машины ходили крайне редко — может быть одна или две в час! Кругом не было ни души. Но, на счастье, именно в тот момент, когда я оказалась на дороге, вдали показался крытый брезентом грузовик. Ангелы-хранители детей должны были позаботиться об их драгоценной мамаше. Смело встав посреди дороги и подняв руки, я перегородила дорогу машине... Грузовик остановился, дверцы открылись, я быстро всё объяснила, умоляя: “Спасите нашу маму!”

И тут же целая рота молодых солдат, по приказу командира, выскочив из кузова, как выпрыгивают игрушечные солдатики из волшебной сказочной табакерки, бросились ловить одинокого вора, которого мама называла “бандитом”, хотя банды при нём не было.

Как только в полнейшей тишине, царившей вокруг лимана, послышался звук тормозов грузовой машины, вор бросился наутёк, покинув поле боя и непобедимую фурию-мамашу, отстоявшую в бою свой драгоценный портфель. Мама стойко выдержала неравный бой, она не плакала... Даже виду не показала нам, девочкам, как ей было больно и обидно.

Детей вместе с мамой посадили в кабину, на переднее сиденье грузовика. Меня переполняло чувство гордости и исполненного долга. Маша уже успокоилась, больше не плакала. Мы сидели и жда-

ли... Успокаивались...

Вора мы даже не увидели. Его, конечно, в конце концов догнали, поймали, привели и запихали в кузов. Целых полчаса мы ехали до ближайшего отделения милиции. Там нас встретил какой-то начальник, маму увели давать показания. Нас он проводил в кабинет и запер дверь на ключ... Уставшие и голодные, мы тихо сидели на мерзком, чёрном, как тоска, кожаном диване, бесконечно долго, может быть два часа или даже дольше. Говорили мало, думать совсем не хотелось. Хотелось всё это забыть. Маму было ужасно жалко...

Незаслуженное наше заключение при полной невозможности выйти из этого помещения оказалось настоящим мучением, даже — пыткой. Страшно хотелось пить и есть, но еще сильнее — писать. Где бы тут осуществить эту элементарную потребность? Ну совершенно нигде! Безобразие. Мы — невинные жертвы, “пострадавшие” в буквальном смысле слова, оказались почему-то наказаны — это мы обе понимали и чувствовали ужасную несправедливость.

Наконец пришёл какой-то милиционер и нас освободил, мы вышли в тёмный, ночной сад и быстренько побежали под кусты... Наконец-то. А то мы уже совсем не могли терпеть.

Маму, наконец, отпустили, и мы поехали домой. Но как мы добрались — уже не имело никакого значения. Мы так устали, что обратного пути не запомнили. Сразу уснули. Наверное, на милицеевской машине нас доставили прямо до дому. Пожалели нашу маму, или просто в тот вечер других преступлений не было, и им нечего было делать?

2006

Ярослав Владимирович Вербовский

Вдруг какой-то непостижимый внутренний голос начал призывать меня написать о нём; не исключено, что это его дух (или душа) в юбилейный год взывает ко мне из потустороннего мира. В 2011 году исполняется сто лет со дня его рождения. Этот замечательный персонаж, этот необычайный до странности человек и художник, так скромно канувший в небытие, достоин хотя бы краткого очерка. Но я — не журналист, очерки писать не умею, поэтому попытаюсь написать рассказ в мемуарном жанре. Все невероятные подробности его жизни, к сожалению, мне не известны, но то, что я расскажу, отнюдь не плод моего воображения, клянусь, как на духу, что именно так всё и происходило в его жизни. Впрочем, моя няня-баптистка, да и мать говорили мне, что клясться — грешно.

У меня ещё в Питере, в гостиной висела картина, которую он мне подарил. На ней пастелью был изображён удивительный женский портрет в розовом платье на голубовато-зеленоватом фоне. Потом эта картина переехала со мной в Париж и обрела своё почетное место в семейном доме в центре города, возле Королевского дворца, где мы живём и сейчас. Дети почему-то были уверены, что на картине изображена я — их мать. Они её прозвали “Лиза”. Меня все спрашивали, кто её нарисовал? Я рассказывала про Вербовского, который даже не считал себя художником и никогда не выставлялся. Как художника его почти никто и не знает. Хотя, несомненно, Вербовский — настоящий талантливый художник.

Как мы познакомились? Начну издалека.

В 1970-м году в районном суде Ленинграда шло разбирательство дела филолога Ефима Славинского. Меня вызвали в суд в качестве одного из многочисленных свидетелей. Думаю, что вы кое-что слышали про поколение так называемых “шестидесятников”, к которому мы оба принадлежали. Наша юность совпала с периодом так называемой “хрущёвской оттепели”, и мы как-то слишком наивно поверили в то, что после смерти тирана в нашей стране настало время неограниченной, бесцензурной свободы: в первую очередь, свободы слова, а также свободы совести, убеждений, собраний и встреч, в частности, с иностранцами, приехавшими с “гнилого Запада”. К концу шестидесятых, после вторжения “наших” войск в Чехословакию в августе 1968 года, все уже поняли, что “оттепели” пришёл

конец. Но в ситуации исподволь нагнетаемого террора некоторые юные свобододолюбцы не успели разобраться и адаптироваться, как их похватали и, обвинив по мнимым уголовным статьям, осудили за свободомыслие и свобододолюбие. Истинное обвинение заключалось в том, что они “не с теми” людьми встречались и “не те” книги читали. . .

Судили Ефима Славинского, якобы, за наркотики, шили “пригон” и пришили, а двоюродного брата его, вызванного свидетелем, арестовали прямо в зале суда и заодно тут же осудили на два года. В суде речь шла даже о возможности осуждения моего друга по статье “сворачивание малолетних”, приговор по которой грозил огромным сроком заключения. “Малолетней”, между прочим, была я. . . Конечно, не во время суда, а лет на шесть раньше.

Познакомились мы со “Славой” в Питере, в конце марта 1964 года. Измученная ностальгией по родному прекрасному городу-Питеру, я сбежала из Сибири на время школьных весенних каникул. Удрал из-под надзора мамы, я прилетела из Новосибирска, где мама — Раиса Львовна Берг — работала в Академгородке. Значит, тогда мне ещё не было 17-ти лет, но я-то считала себя вполне взрослой, и отстаивала своё право вести “взрослую” жизнь, вовсе не интересуясь статьями уголовного кодекса. Впрочем, в этом не было ничего оригинального, почти все девушки моего поколения и возраста именно так и думали, и жили. Слава, он же — Ефим, мне сразу понравился. Он был старше меня лет на десять, хотя имел статус студента, был крайне застенчив, но своего восхищения мной не скрывал. В солнечный день 1 апреля мы гуляли целой гурьбой по Невскому. Остановились возле продавщицы цветов, я с восторгом нюхала первые лиловые гиацинты, купить которые можно было только мечтать — ни у кого из нас не было денег. Услышав тихие слова о том, как бы ему хотелось мне подарить эти цветы, я уловила нежность в его голосе и шепнула ему на ухо: “Жди меня у себя дома, на улице Лизы Чайкиной, сегодня в час ночи я к тебе приду”. Слава в полном смущении побледнел и лишился дара речи, мне кажется, он не поверил. . . Собравшись с духом, он всё же спросил: “Это что, первоапрельская шутка?” Я сказала со смехом, что вовсе нет, это совсем не шутка и не розыгрыш. Мы оба были крайне взволнованы и с нетерпением стали ждать ночи.

Так у нас началась казавшаяся мне романтической связь. А вот была ли она любовной? Трудно теперь разобраться, скорее всего, нет, настоящей любви, связанной с ревностью, не возникло ни у него, ни у меня, но нежные и страстные чувства были взаимными.

Впоследствии романчик совершенно безболезненно перешёл в дружеские отношения, оставшиеся на всю жизнь.

После ареста Славинского меня вызвали на допрос в КГБ. На столе у следователя оказалась найденная при обыске моя телеграмма — совершенно невинного содержания: “Прилетаю таким-то рейсом. Встречай. Целую. Лиза”. Он зачем-то её сохранил. . . Эта телеграмма и была поводом для обвинения моего друга в совращении малолетних. На допросе, по поводу телеграммы, я сказала: — “Ну и что?” и твердо отрицала всяческие подозрения в имевшейся между нами сексуальной связи. Кроме того, меня, как и всех вызванных свидетелей, спрашивали о наркотиках. “Являюсь ли я наркоманкой?” — “Конечно, нет!” И это было сущей правдой. Я заявила, что “в первый раз слышу о том, что у Славинского был какой-либо интерес к курению “плана” или гашиша. Мне он ни разу об этом не говорил, никогда ничего не предлагал” . . .

Надо сказать, что тут я, конечно, нагло врала. Именно предлагал, и даже не раз уговаривал меня “подшабить”, “кайф словить”, а я упорно отказывалась, так как даже дым от окружавших меня курильщиков плана вызывал у меня тошноту, лёгкую, но достаточно определённую, чтобы испытывать к этому отвращение.

Возвращаюсь к знаменательному дню судебного процесса, где в кулуарах суда, в ожидании открытия дверей, собралось несколько людей “нашего круга”, интеллигентных друзей филолога Славинского, из которых я знала далеко не всех. Например, я познакомилась там с Кириллом Владимировичем Косцынским, с замечательным человеком, отсидевшим немало лет в лагерях. Мы с ним тоже сразу же подружились. Он работал над уникальным словарём ненормативной лексики. Обладая острым чувством юмора, выражался он крайне цветисто и смешно. При этом отличался изысканными манерами, явно привитыми дворянским воспитанием.

Там же ко мне подошла одна моя новая приятельница, чуть постарше меня, по имени Татьяна. Эта молодая особа была удивительно похожа на “Весну” Боттичелли, её огромные голубые глаза всегда казались наполненными слезами. Неизъяснимая грусть обособо слёзного блеска в сочетании с робкой, прелестной улыбкой, первые лучи солнца после грозы. Танька была в суде не одна, рядом с ней стоял высокий, поджарый и с проседью в волосах Ярослав Владимирович Вербовский, и она познакомила меня со своим удивительным кавалером. Он был лет на тридцать старше её. С высоты своего внушительного роста он обратил на меня взгляд, полный непривычного изумления, и даже — восхищения и, одновременно,

какой-то детской доверчивости. И ещё в его глазах я уловила что-то похожее на испуг. Позже я поняла, что это его обычное выражение. Сначала я подумала, что этот испуг засел в его взгляде ещё со времен блокады Ленинграда, но потом оказалось, что это выражение просто присуще его характеру или заложено в генотипе, поскольку то же выражение глаз было и у его единственного сына Володи.

На меня Ярослав Вербовский сразу произвёл сильное впечатление. Его длинная фигура почти не имела ширины, худоба граничила с истощённостью. Он слегка горбился, хотя и не выглядел ещё старым. Несмотря на его седину, возраст его — для меня, двадцатитрёхлетней — был просто неопределим. Густые волосы, глубоко посаженные глаза, крупный нос с горбинкой, чувственный большой рот и заострённый подбородок, при этом — почти полное отсутствие щёк. . . Профиль чётко прорисован смелым ваятелем, а “фас” — едва уловим. Длинные руки с удивительно длинными пальцами, как у пианиста.

Едва нас представили, он обратился к своей подруге и тихим глуховатым голосом произнёс: “Таня, ты не находишь, что Лиза невероятно похожа на Лолиту?”

Я услышала и тут же быстро спросила: “А кто такая — Лолита?”

“Значит, Вы не читали Набокова?” — Я чуть было не спросила: “Кто такой Набоков?”, но к счастью, удержалась, вовремя вспомнив, что имя этого писателя при мне уже не раз упоминалось. Пришлось откровенно признаться, что Набокова я ещё не читала, но очень мечтаю прочесть. Ярослав сразу же пообещал мне дать знаменитую “Лолиту” и кое-что ещё. При этом Танька заговорщицки шепнула мне на ухо, что у него есть всё — все книги, которых нигде не достать, не купить. Мой интерес к этому господину мгновенно возрос. Между прочим, Таня шепнула мне также, что Ярослав — “холодный книжник”, была в те времена такая профессия. Что бы это значило? Может быть, он — букинист? Я решила спросить его потом, не в суде...

Мы поговорили всего минут пять-десять, и я пригласила его в гости. Сдержанно выразив искреннюю радость, он как-то просто и сразу согласился. В этот момент нас пригласили зайти в зал суда.

В маленьком помещении большинство мест оказалось уже занятым. На стульях плотными рядами сидело скопище пригнанных сюда людей: их однообразные рожи принадлежали “лицам” мужского пола, но лицами эти молодчики не обладали. Кто они — не ясно, то ли военнослужащие или милиционеры в штатском, то ли какие-то чиновники. На редких оставшихся свободными местах усе-

лись свидетели и близкие друзья подсудимого. Когда привели Славинского, его трудно было узнать. Опущенная долу голова обрита наголо, едва заметный коротенький ёжик и плохо выбритые щёки, лицо — серое, глаз он на зал не поднимал. Удручающее зрелище. Появилась Судья, похожая на кухарку, суровая полная женщина средних лет с тупым, толстощёким и красным лицом. С двух сторон от судьи уселись присяжные — не очень старые пенсионеры без особых примет, по трое с каждой стороны. “Встать, суд идёт!” — все встали. “Садитесь”. После часа обычных нудных вопросов и ответов, во время которых подсудимый Славинский ни разу не поднял головы, наконец, вызывают меня. На вопросы о наркотиках отвечаю слово в слово то же самое, что и на предварительном следствии. Это должно означать, что я выступаю в качестве свидетеля защиты: никакого курения наркотиков при мне не было ни разу, и меня, бывавшую в его доме регулярно, никто не “угощал” и, тем более, не уговаривал курить “план”. Эти мои показания в советском суде никакого значения не имели, роли они не сыграли... Свидетелей защиты — по замыслу липового процесса — просто нет, не может быть и в помине. После окончания суда, ознакомившись с приговором, я нашла свою фамилию в списке свидетелей . . . обвинения!

Затем вылезает та самая статья о соращении несовершеннолетних. Я твёрдым голосом заявляю: “Я не согласна, это обвинение совершенно необоснованно!” Судья — с наигранным удивлением — спрашивает меня:

— Почему вы не согласны с этим обвинением? Вы же были в 1964 году несовершеннолетней!

— Действительно, говорю я, в тот год я была несовершеннолетней, но Ефим Славинский ничего общего с совратителем не имеет, это в высшей степени воспитанный, тонкий, вполне порядочный и интеллигентный человек (гул возмущения за столом судьи). Он вёл себя со мной совершенно безукоризненно! Если уж говорить о соращении, то это я его соращала, а не он — меня!

Шум и смех в зале. Славинский впервые поднял голову и даже чуть-чуть улыбнулся в мою сторону. . . Тут уж Судья не выдержала, лицо её от негодования угрожающе налилось кровью, и она завопила что есть мочи:

— Кто вас воспитывал!?

Ещё более явное оживление и смешки в зале только подливали масла в огонь. Дело в том, что некоторые из присутствующих на этом спектакле отлично знали мою родословную и могли бы дать исчерпывающий ответ на этот идиотский вопрос. Присяжные с мест

подавали подходящие по контексту гнусные реплики... Я продолжала стоять и пыталась ещё что-то говорить, но мне велено было сесть, мой допрос окончен. Однако с этого момента обвинение в соvrращении было снято, я своего добилась. Приговор был по статье “притон наркоманов”.

Можно себе представить, в каком состоянии чувств я просидела остаток процесса. Многих других свидетелей вызывали после меня, но их ответы в моей памяти отчётливого следа не оставили. Сохранилось лишь ощущение стыда за весь этот фарс, в котором мы участвовали и тяжёлое чувство висящего в воздухе страха. Зато прекрасно помню, как допрашивали Славкиного кузена, чтобы пришить ему обвинение в спекуляции наркотиками (он будто бы привёз брату 100 грамм гашиша из Средней Азии). Неожиданно для всех нас, он был арестован прямо в зале суда. Потом во дворе суда мы провозжали грузовик, в котором их обоих увозили...

Когда я, наконец, выбралась из этого мрачного здания и оказалась на улице, я помчалась искать общественный туалет, к счастью, находившийся в соседнем сквере. Там было две двери с разных сторон, две буквы: “Ж” и “М”. Я вбежала в ту дверь, на которой, как мне показалось, имелась буква “Ж”, там никого не было. Открытое помещение без кабинок, без унитазов, только подставки для ног с двух сторон ям и... невыносимая вонь. Едва я “устроилась”, присев на корточки (завесив, по привычке, открытые части тела юбкой и пальто), как вдруг, к моему ужасу, вошел молодой мужчина... и оторопел! Я немедленно заорала: — “Как вы смеете! Убирайтесь немедленно!” Он быстренько ретировался. “Слава Богу”, с двойным облегчением подумала я. Когда я вышла, возле двери в туалет стояла небольшая очередь из мужиков, и все они откровенно ухмылялись. В полном смущении, я извинилась и быстрым шагом направилась к метро.

Через несколько дней Ярослав Владимирович пришёл к нам в гости, в нашу с мамой квартиру на проспекте Маклина (ныне — Английский проспект). В руках его была завернутая книга. О, радость! Он принес мне “Лолиту”, как обещал! Я его угощала, мы беседовали, он мне рассказывал много интересного, как во время войны он жил всю блокаду в Ленинграде. В голодном, умирающем городе он встретил осиротевшую девочку Валею. В первую блокадную зиму, когда Вале было пятнадцать лет, от голода умерли все её родные — родители, сестра и брат, бабушка, тётя. Маленькая Валя чудом осталась в живых, её подкармливала соседка, пока тоже не умерла. Она оказалась в интернате, работала на каком-то заводе, ей даже школу

не удалось закончить. Когда кончилась война, они поженились, и Валя переехала к нему в его крошечную комнату в коммунальной квартире. Потом, в 1950 году у них родился сын Володька. Ярослав, казалось бы, должен был радоваться.

Первый же мой визит к Ярославу меня просто ошеломил. Жил Ярослав недалеко от Главного почтамта в коммунальной квартире, где ему принадлежала лишь одна небольшая комната, очень скромно обставленная. Он мне ничего до этого не говорил, скромно умалчивая о своем даре — оказалось, что он настоящий талантливый художник! На стенах висело несколько изумительных женских портретов, нарисованных пастелью — просто незабываемо прекрасных! От них вся комната совершенно преображалась. У него был свой, романтический стиль, своя цветовая гамма, женские лица смотрели со стен грустно или мечтательно — он прекрасно мог выразить настроение. Справа от дивана всю стену до потолка занимали книжные полки, полные сокровищ... Впрочем, не все книги были на виду, “крамола” и особо редкие издания скрывались за дверками в нижней части стеллажа, заперты на ключ. Из этой сокровищницы мне посчастливилось кое-что почитать.

Я спрашивала у него, не без робости, что это значит: “холодный книжник”, что это за профессия такая? Он мне объяснил, что он продаёт редкие книги, которые раздобывает разными путями, в основном, в Москве, на толкучке, есть там такой особый книжный базар, куда люди приходят продавать свои книги. Самые интересные издания никогда не выставлены, нужно спрашивать, интуитивно распознавая, кому можно доверять, а кому нельзя. Многие его уже знают и ему доверяют, поэтому извлекают из потаённого места завёрнутые в газеты экземпляры, о которых он нередко заранее договаривался. Происходит торг, Ярослав покупает и привозит затем в Ленинград целый чемодан книг. Далее, можно сдать книги в государственный книжный магазин на продажу, это доступно всем, но лишь те издания и тех авторов, которые не входили в список запрещённых или опальных. Теперь понятно, откуда у Ярослава такая изумительная коллекция редких книг. Всю жизнь Ярослав больше всего на свете любил книги, его страсть к чтению и привела его в юности в Библиотечный институт в Москве. Говорить с ним было крайне увлекательно, он столько читал, знал столько интересного, что это — просто невообразимо. Всё-таки быть букинистом, независимым торговцем книг, в Советское время было чрезвычайно опасно. Я его спрашивала, не страшно ли ему? Хотя Хрущёвская “оттепель” немало способствовала ослаблению цензуры, ведь

даже Солженицына напечатали — “Один день Ивана Денисовича” мы все с замиранием сердца читали в журнале “Новый мир”, — но это можно было рассматривать как некое чудо! К тому же, к началу семидесятых оттепели уже как не бывало, снова стало опасно читать недозволенные книги. Даже роман Булгакова “Мастер и Маргарита” был издан с большими купюрами. У меня появилась возможность в этом убедиться, когда я получила этот роман, опубликованный на Западе издательством “Посев”. Однажды моей знакомой, американской студентке Маргарет, пришла по почте посылка с чудными книгами — для меня. Её доставили прямо к ней в общежитие. Она принесла пакет ко мне домой, не раскрывая его. Как мы ликовали, увидев содержимое этой посылки! Удивлялись, что вездесущее КГБ не проверило — что же там внутри? Видимо, “они” считали, что прокоммунистически настроенным иностранным студентам можно доверять, а напрасно... В общем, нас чудом пронесло... За чтение запрещённых книг в то время можно было получить немалый срок лагерей.

Ярослав познакомил меня со своей бывшей женой Валентиной Васильевной, во втором замужестве — Кедринской; мне она очень понравилась, и мы подружились. Сын его Володя тоже мне понравился, но он меня дичился, дружбы у нас не вышло...

Ярослав замечательно украшал мне жизнь — дарил цветы, иногда мне звонил и приглашал в ресторан, не раз мы обедали в “Метрополе” на Садовой вместе с его бывшей женой Валей, с которой у меня и по сей день нежная дружба. Она ласково меня опекала, помогала мне попасть к хорошим врачам, что было очень трудно в те времена.

Отношение Ярослава ко мне я не анализировала, мне, конечно, было очень лестно его внимание. Но со временем он уже не мог больше скрывать своего темпераментного влечения ко мне, и однажды пришлось его несколько охладить — мне и в голову не приходила возможность сближения — слишком велика была разница в возрасте.

Совсем недавно Валя рассказала мне невероятную историю их “развода”. Когда Володя был ещё грудным младенцем, все трое жили в одной маленькой комнате в коммунальной квартире. Жизнь у них была крайне бедной и трудной, она кормила ребёнка грудью, а Ярослав часто отлучался... При этом обращался он с кроткой Валей, по её словам, не очень корректно, “гулял” — изменял ей, и она на него обижалась. Они часто ссорились... Ярослав в гневе был страшен... Однажды в разгар ссоры к ним в гости зашёл близкий

друг Ярослава — молодой архитектор Саша Кедринский, которому хорошенькая Валечка очень нравилась. Ярослав, так и не успев успокоиться, с мрачным видом пошёл на кухню — поставить чайник на плиту. Как только муж вышел, Саша взволнованно сказал Вале:

— Не плачь, Валечка. . . Как ты можешь его терпеть, так же нельзя, сколько можно так мучить тебя? Если хочешь, выходи за меня замуж, я тебя хоть сейчас заберу отсюда, и будем жить вместе.

Валя сначала просто оторопела, это было так неожиданно. . . Но слёзы её тут же высохли. Саша мгновенно понял по её взгляду, что она не будет возражать. Тут вошёл Ярослав.

Саша Кедринский, не медля ни секунды, объявил ему:

— Валю я забираю, поскольку ты, Ярослав, по всему видно, её нелюбишь, только мучаешься с ней. . . Так жить невозможно, поэтому Валя сейчас же соберёт чемодан, и ребенка, конечно, тоже, и мы с ней уходим. . . Она будет жить со мной.

— Валя, ведь ты согласна?

Валя не возражала. Они тут же быстренько собрали её чемодан и ушли, даже чаю не стали дожидаться. Саша взял ребёнка на руки, пока она быстро складывала свои вещи, оба молчали. . . Вещей было так мало, что собраться было делом несложным. На глазах у оторопевшего мужа они втроём спешно покинули квартиру. . . чтобы не расставаться уже никогда, до самой смерти.

Ярослав остался один. Он был потрясён. Но он не сопротивлялся, не отстаивал своих прав, вот что интересно, и это не помешало всем троим оставаться друзьями до конца.

Однажды, когда мы сидели у Ярослава с подругой Таней, которая, вероятно, там и жила, к нему в гости забежал его старинный друг — знаменитый московский балетмейстер Юрий Григорович, родом из Ленинграда. Я сразу вспомнила рассказ Ярослава, как он спасал от голодной смерти детей во время блокады Ленинграда. Юра Григорович был одним из этих детей. С осени 1941 года в течение 900 дней продолжалась блокада, при этом город подвергался интенсивной бомбёжке. Бомба попала в квартиру моей знакомой, когда она с матерью была на улице, её кукла с оторванными ногами валялась на земле. В большинстве домов вылетели стёкла, не было ни электричества, ни питьевой воды, дрова тоже вскоре кончились, в печах сжигали мебель и книги, чтобы хоть немного согреться — в эту лютую зиму морозы были ужасные. . . В первую же зиму большинство оставшихся жителей города погибли от истощения — сотни тысяч. Ярослав всю войну провёл в осажденном Ленинграде. Он в те годы работал библиотекарем в Хореографиче-

ском училище, на улице Росси. Из воспоминаний одной балерины (Мельниковой), узнала, как ни странно, что Вербовский там также преподавал арифметику.

Юрий Николаевич Григорович мне сам подтвердил, с неподдельным волнением в голосе, что Ярослав спас ему жизнь, когда он уже был на грани полного истощения. Он затащил мальчика к себе, на улицу Росси, где он тогда жил, чтобы там его накормили в столовой для учащихся в этой школе, которая не закрылась, а продолжала работать всю войну. Мальчика, который уже занимался балетом в другой школе, приняли в Вагановское училище. В результате, Григорович его закончил и стал блестящим танцором и хореографом.

Во время блокады Ленинграда, в марте 1942 года от голода умерла мать Ярослава — Надежда Дмитриевна Арсеньева — Вербовская. Ей было около 63 лет. У нее было пятеро детей: Ирина, Вячеслав (умерший в младенчестве), Николай, Татьяна и Ярослав. К этому времени отца Ярослава давно уже не было в живых. Его уничтожили новые хозяева страны ещё в 1924 году как “врага народа”, аристократа и члена царского правительства в Туркестане. На обыске обнаружили все его многочисленные грамоты и награды, в том числе от Эмира Бухары. Ярославу было тогда 13 лет.

Когда умирала Надежда, никого из её детей рядом не было. Старшая — Ирина с дочкой Магой была в Кабуле, куда они в начале 1938 года были вынуждены перебраться, спасаясь от неминуемых репрессий сталинского террора. Дело в том, что ещё в 1923 году в Москве она вышла замуж за афганского дипломата, получила афганское гражданство. В 1924 году она родила дочку Магдалину, любимую племянницу Ярослава и его брата Николая — художника. Мужа Ирины арестовали в Кабуле в 1932 году, после афганской революции. Этот замечательный человек, много помогавший семье своей жены в страшные голодные годы после революции в России, просидел долгие годы в тюрьме, первые пять лет — в одиночной камере, но к счастью выжил, его освободили только в 1946 году, и он вернулся в свою семью. Ирина его дождалась... Мага вновь обрела отца в 22 года.

Сразу после их отъезда в “заграницу”, в 1938 году в Ленинграде был арестован старший брат Ярослава — Николай, блестящий выпускник Академии Художеств. Он провёл три года на Соловках, после чего его выслали в Нижний Новгород (это называлось: “поражение в правах”). В первые же дни войны он был мобилизован, и в марте 1942 погиб в битве под Курском. В семье подозревали, что Надежда, получив телеграмму о смерти сына, не стала больше

бороться за свою жизнь. . .

Младшая дочь Надежды была в Средней Азии: пианистку Татьяну, после окончания консерватории в Москве, “распределили” на три года в Ашхабад, где она застряла из-за начавшейся войны. Ярослав же находился в больнице с тяжелой дистрофией, и пролежал там несколько месяцев. В тот страшный военный год, будучи на грани смерти, он потерял и маму, и брата, а обе сестры его были очень далеко, и разлука с ними могла продлиться бесконечно долго. . . То, что ему удалось выжить, можно считать чудом, видимо он обладал совершенно уникальной способностью не впадать в отчаяние.

Тут в пору рассказать о предках Ярослава — о его родословной. Интереснейшие сведения об этой семье мне прислала его племянница, дочь его старшей сестры — Ирины Владимировны, Магдалина Брюс. Я ей за это необычайно благодарна.

Меня, как потомственного генетика, конечно, особо интересуют гены моего персонажа. . . откуда у Ярослава взялся такой удивительный фенотип?

Кто был отец Ярослава — Владимир Тимофеевич Вербовский? Очень занятная история. Происходил он из польской семьи. Согласно семейной легенде, его отец (дед Ярослава) — *Jan Wierzbowski*, дворянского происхождения, владел обширными угодьями в Минской губернии. Со своим младшим братом и девятнадцатилетним сыном Тадеушем он примкнул к повстанцам, боровшимся за польскую независимость. Восстание началось в январе 1863 года, и для подавления мятежа российскому правительству пришлось принять решительные меры. В учебнике истории царского времени читаем:

“В Варшаву был послан наместником граф Берг, а в Вильну генерал-губернатором шести северо-западных губерний — генерал Муравьёв. Действовали они быстро и решительно, особенно же Муравьёв. Он знал, что чем суровее возьмется за подавление мятежа, тем скорее и с меньшим числом жертв его подавит. Прежде всего он обложил большими военными налогами имения польских помещиков, рассуждая, что раз они давали деньги на мятеж, то должны предоставить средства и на его усмирение. У тех же польских помещиков, которые были более замечены в поддержке мятежа, были отбираемы имения в казну. Таким образом, мятеж лишился тех денежных средств, которые его поддерживали. Шайки повстанцев Муравьёв преследовал без устали, и вскоре все они были переловлены”.

Летом 1864 года, когда восстание было подавлено, младшему брату Яна Вьербовского удалось сбежать в Австрию, а Тадеуша

вместе с отцом заточили в тюрьму, а затем их . . . выслали в Ставрополь. Гуманная мера. . .

Историческая справка

За причастность к восстанию было казнено 128 человек; 12 500 было выслано в другие местности, в частности в Сибирь (часть из них впоследствии подняла Кругобайкальское восстание 1866 года), 800 отправлено на каторгу. Учитывая, что следствием установлено участие в восстании около 77 000 человек, можно констатировать, что всего подверглось наказанию менее пятой части участников восстания. Эти цифры показывают, что правительство не проявляло к восставшим той особенной жестокости, о которой впоследствии станет говорить советская историография. Массовые репрессии затронули семьи причастных к восстанию, высылаемых в центральные губернии России. Кроме того, в Литве и Белоруссии было запрещено занимать государственные должности (в частности, учителей в школах и гимназиях) лицам католического вероисповедания, поэтому поляки и литовцы вынуждены были обосноваться в центральных губерниях России. Среди потомков таких ссыльных и переселенцев — композитор Дмитрий Шостакович и писатель Александр Грин.

10 декабря 1865 года Александр II утвердил закон, по которому всем высланным из западных губерний предлагалось в течение 2-х лет продать или обменять свои земли, а покупать их могли только православные.

Ян с сыном Таддеушем оказались в захолустном городишке Ставрополе, в предгорьях Кавказа. Здесь они неплохо зарабатывали на жизнь, будучи выдающимися музыкантами, играли на свадьбах и местных вечерах. Знание иностранных языков тоже пригодилось. Детям местных офицеров нужны были преподаватели французского языка, а не только уроки музыки. Затем они стали именоваться Иваном и Тимофеем Вербовскими, выбросив лишние буквы из своей фамилии.

Таддеуш, дед Ярослава, став Тимофеем, в начале 1870-х встретил свою невесту — гречанку Марию. Они поженились. Её отец — Абрахам (Авраам) Палеолог был патриотом-революционером. Рыбак рыбака видит издалека. . . Сын польского революционера влюбился в дочь греческого революционера! Как же она попала в Ставрополь? В Греции отца Марии изловили и казнили, но до этого он успел отправить детей к своей сестре, которая жила на острове Кипр. О матери ничего не известно. Дети — брат и сестра — некоторое время жили с тётёй на Кипре, потом почему-то перебрались

с её семьёй на Кавказ и обосновались в Ставрополе.

У деда Ярослава — Тимофея (Таддеуша) Вербовского и Марии Палеолог было двое сыновей: Вячеслав и Владимир. Мария (бабушка Ярослава) умерла от туберкулеза, когда ей было чуть больше сорока лет, и вскоре — тоже от чахотки — умер её сын Вячеслав. Зато Владимир выжил; и хорошо, что так, он должен был стать отцом моего героя — Ярослава. Владимир Тимофеевич был блестящим студентом, он закончил Ставропольскую гимназию с золотой медалью. Однако политическим ссыльным, как и их детям, путь в столичные университеты был закрыт. Он поступил в Казанский университет, где и встретил Мишу Брадовского (первого мужа Надежды), с которым подружился. После окончания университета Тимофей уехал работать в Ташкент. С отцом — Яном — он совсем не дружил, не одобряя его связи с певицей кабаре, которую тот даже отправил в Париж учиться французскому и хорошим манерам, а под конец жизни оформил с ней брак. Она получила после смерти мужа всё его наследство.

Владимир Тимофеевич Вербовский (1876–1924) — отец Ярослава — до Революции был первым секретарём губернатора Туркестана, работал в правительстве. Он смолodu увлекался историей этой части империи, этнографией, литературой, традициями и обрядами, выучил многие местные языки и писал книги, которые все были изъяты после революции. Его дочери Ирине так и не удалось в советские годы их достать. Никто из потомков их не читал, а жаль. . .

Мне, однако, удалось найти одну ссылку в интернете: Положение об управлении Туркестанского края. Составитель В.Т.Вербовский. Ташкент, 1911; Положение об управлении Туркестанского края. Национальная политика в императорской России. Цивилизованные окраины. М.,1997.

Мать Ярослава родилась в Казани 28 мая 1878 года. Её дальними предками были воинственные татары, чьи набеги разоряли Россию множество раз. Казанское ханство было завоёвано в 1552–1556 годах войсками Ивана Грозного. 15 октября 1552 после 41-дневной осады 150-тысячным русским войском пала Казань, которую защищали около 30 тысяч воинов. Мужчины были, в основном, перебиты, женщины и дети взяты в плен. Предок Надежды — матери Ярослава — был из тех детей, которых насильственно крестили в христианскую веру (в те времена мусульман называли бесерманами или бусурманами). Назвали мальчика Арсением, по имени святого из церковного календаря, от него пошёл род Арсеньевых. . .

Большинство казанских татар относится к антропологическому

типу европеоидов, тогда как астраханские и сибирские татары принадлежат к южносибирскому типу монголоидной расы, но и в Казани долгое владычество Золотой Орды не осталось бесследным. (В 1236–1240 Булгария была завоёвана монголами, с 1241 по 1391 г.г. — “этап средневековой татарской этнополитической общности” в составе улуса Золотой Орды.) У матери Ярослава, по словам её внучки, “татарские” гены всё ещё проявлялись и через много веков: слегка раскосые глаза и азиатские высокие скулы. В Сталинское время её жизнь была полна трагических событий и тяжких невзгод. Видимо, азиатские гены помогли ей сохранить твёрдость характера и умение радоваться жизни.

Дед Ярослава по матери — армейский полковник и дирижёр полкового оркестра Дмитрий Николаевич Арсеньев был дворянского рода, его предок получил дворянский титул на царской службе. Но его отец промотал почти всё состояние, после его смерти остались лишь дом в Казани и загородное поместье, поделённые между двумя сыновьями: Дмитрию достался городской дом. Он женился и имел двух сыновей — Василия и Николая, но жена его рано умерла, и вскоре он влюбился в совсем молоденькую дочь полкового офицера. Ему было 48 лет, а Глафире — всего 16, когда они венчались в Казанском соборе. (Одновременно там же венчали и его старшего сына — Василия, чьей невесте было 24 года.) Дмитрий охмурил юную барышню с помощью французского шоколада и парижских кукол, от которых Глафира была без ума. После свадьбы произошло занятное приключение. В первую брачную ночь невеста, ничего вообще не зная о сексе, так напугалась, что издав ужасный визг, бросилась спасаться бегством. Отчаянно плача и визжа, она удрала из спальни в ночной рубашке, прихватив французскую куклу, подаренную ей женихом на свадьбу, резво забралась на крышу дома и категорически отказалась оттуда спускаться. Она заявила, что спустится, если только её заберут домой, к маме. Пришлось послать за её отцом, который и уговорил её слезть с крыши, плачущую, чтобы отвести её домой.

Целый месяц мужу пришлось вновь ласково уговаривать “невесту” вернуться к нему, улаживая её подарками и играя с ней в куклы. Видимо, её мать всё же дополнила образование дочери и уговорила её вернуться к мужу. После чего они благополучно жили вместе и народили троих детей: Надежду, Алексея и Клавдию. Но муж Глафиры Алексеевны умер в 1886 году в возрасте 56 лет, оставив молодую вдову с тремя малышами, старшей его дочери Наде (матери Ярослава) было лишь 8 лет. Потом “бабушка” Глафира вновь

вышла замуж (за репетитора своего сына Алёши) и родила ещё одну дочь — Клеопатру, но опять вскоре овдовела.

Как только старшая дочь Надя закончила Казанский институт благородных девиц, где также училась и её младшая сестра Клава, она стала работать учительницей, преподавала рисование и рукоделие, и в 19 лет уже смогла помогать семье. В институте её также научили прекрасно шить. Она была очень хорошо сложена, имела чудные голубые глаза и роскошные волосы, шарм её был неотразим: живая, весёлая, тоненькая и миниатюрная, прекрасно танцевала, обувь носила 32 размера (в советские времена приходилось покупать детскую обувь).

В первый раз она вышла замуж в 19 лет за прекрасного адвоката Мишу Брадовского, дом их пользовался большим успехом, они устраивали пышные приёмы. Жили счастливо, любили друг друга. Но детей у них почему-то не было, хотя они очень мечтали их иметь. Потом, лет через пять, Миша “поехал головой”, помешался, начал такое вытворять!.. Например, угрожал с оружием в руках убить свою жену, а однажды в жаркий день, раздевшись догола, отправился на службу, вышел на улицу и . . . был тут же задержан полицией. Его надолго поместили в больницу, там его пытались лечить, но никакое лечение не помогало. Надю редко допускали к мужу, которому становилось всё хуже и хуже. О разводе Надя и думать не смела — в те годы психическая болезнь мужа не считалась достаточной причиной для развода.

Через год в Казань приехал из Ташкента университетский друг Брадовского — Владимир Тимофеевич Вербовский. Он пошёл к нему в больницу — навестить друга. Миша даже не узнал его, он был совсем невменяемым. Владимир Вербовский вернулся к его жене Наде с этой печальной новостью.

Надя произвела на него невероятное впечатление — он влюбился, да и немудрено, поскольку Наде он так понравился, что она приложила все старания, чтобы его очаровать. Он уехал в отпуск, на море, а на обратном пути в Ташкент вновь заехал в Казань, чтобы её повидать. Затем они переписывались — нежные письма весьма способствовали их сближению, Наде становилось всё труднее жить с ним в разлуке. Он приехал вновь, и радость была велика. Она сказала, что не может жить без него, что она готова поехать с ним в Ташкент, не будучи его женой, лишь бы больше не расставаться. . . Хотя Надя прекрасно понимала: после блестящей жизни в казанском обществе, статус тайной любовницы — не очень завидный.

Перед отъездом она пошла навестить мужа Мишу в больницу

и сказала ему, что уезжает в Ташкент, только не сказала к кому и зачем, он разрешил, считая, что она вскоре вернётся. Мать её не возражала, тоже отпустила, и она переехала к Владимиру в Ташкент, где пришлось жить отдельно, хотя всем было ясно, что она его любовница. Вскоре оказалось, что она беременна, к неописуемой её радости. Однако рожать она приехала к маме в Казань, решив, что так будет лучше. На сносях уже, Надя пошла в больницу к Мише, её пустили — в тот день ему стало получше. Он спросил, конечно, чей это ребенок, от кого? Она сказала правду. Тогда Миша сказал изумительные слова: “Это хорошо, Вербовский — замечательный человек, я за тебя очень рад, выйдешь за него замуж, когда я умру”.

Дочь Ирина (Вербовская, старшая сестра Ярослава) родилась в Казани в 1905 году. Владимир Тимофеевич приехал забрать мать и дитя, и они уехали вместе в Ташкент. Через год у них родился второй ребенок, сын Вячеслав, но он умер в младенчестве из-за преступной няньки. Она его ловко “усыпляла” с помощью сильного снотворного, дозу превысила, и он не проснулся. Пришла беда — открывай ворота. . . В то же время в Казани умер муж Нади — Миша, вполне вероятно, что он покончил с собой. Но нет худа без добра — теперь они наконец-то смогли пожениться и легализовать отцовство своих детей.

Дочке Ирочке было уже полтора года, на свадьбе родителей она прочитала маленький стишок. Надя переехала в дом мужа, в его официальную резиденцию в центре города. Полнейшая перемена социального ранга! Надя из *“persona non grata”* немедленно превратилась в одну из первых дам в Ташкенте — столице Туркестана. Начались балы, приёмы, официальные обеды с танцами, карточными играми — вечерами играли в модный тогда “преферанс”. Были также филантропические общества, благотворительные комитеты, утренние женские чаепития, театральные представления и оперные спектакли. Летом всем семейством выезжали в Крым, на Чёрное море, обычно — в Алубку, рядом с Ялтой и Ливадией, где проводила каникулы царская семья.

Конечно, были не только удовольствия. В 1909 году, когда Надя была в очередной раз беременна, ожидая рождения дочери Татьяны, её любимый муж вдруг влюбился в её младшую сестру Клаву. Она как раз приехала погостить из Казани. Они оба так увлеклись этой страстью, что сбежали, забыв и о Наде, и о детях. Двойное предательство! Вообразите, каково ей было в такой ситуации. . . Когда родилась Таня, муж всё же “вспомнил” о своих обязанностях, или он разочаровался в Клавдии, или раскаялся. . . Он решил вер-

нутья и просил прощения. Надя очень любила его, и простила, а что ей оставалось делать?

А Клавдию Бог покарал. Во время Первой мировой войны проводились исследования новых анестезирующих средств, вместо используемого для наркоза дорогого хлороформа. Медики испытывали на добровольцах новый локальный наркоз, и в 1915 году Надя предложила себя в качестве подопытного кролика. В результате инъекции в спинной мозг, дозу не рассчитали, и она оказалась парализованной. Клаву перевезли в Ташкент, в квартиру её матери, снятую поблизости от Нади. У мамы (Глафиры) ей и пришлось доживать свою жизнь в инвалидном кресле.

Когда родился Ярослав (2 июля 1911 г.), в семье уже было трое детей: Ирина, Коля и Таня. Яра был самый младший и его, наверняка, все баловали и очень любили. Родители решили снять загородный дом под Ташкентом, стали выезжать летом на дачу. Дом этот Владимир Тимофеевич нашёл “по знакомству”, он принадлежал одному из членов царской семьи — настоящий дворец, окружённый огромным парком. Летом он был свободен, хозяева пользовались им первое время только зимой, а затем и совсем перестали приезжать, и В. Т. купил его в 1916 году. Надина мать — Глафира тоже переехала в этот дом, потом присоединилась её сестра. На лето из Москвы приезжали оба её брата с жёнами и детьми. Надин сводный брат — Николай Дмитриевич, старший сын её отца от первого брака — устроился работать в Чимкенте (ныне — Шымкент). Иногда Надины дети отправлялись в гости к дяде, где тоже было четверо детей: Наталья, Алексей, Кирил и Мефодий, такого же возраста. В летние месяцы в доме у Вербовских собиралось множество детей. Представляю, как им было весело, когда в доме с чудесным парком собирались все кузены и кузины!

Раннее детство Ярослава было очень счастливым. В доме была прислуга и гувернантка-француженка, постоянно звучала прекрасная музыка: старшие сестры Ирина и Татьяна учились играть на фортепьяно, поступили в гимназию. Ирочку собирались отправить в Санкт Петербург в Институт благородных девиц... Не успели... В 1917 году история сделала крутой виток — в Российской империи началась революция, потом гражданская война... Ярославу было всего шесть лет, когда жизнь семьи превратилась в сплошные мученья.

Когда большевики добрались до Ташкента, губернатор Туркестана сбежал в Иран, семья Вербовских последовала за ними, обозом, на мулах... Продвигаясь со своим скарбом крайне медленно,

пересечь границу они не успели. За несколько часов перед этим большевики взорвали мост через реку Теджент (по ней проходила граница между Туркменией и Ираном) и им пришлось вернуться в Ташкент.

Владимир Тимофеевич лишился работы и долго искал, прежде чем ему удалось устроиться на сахарный завод в 20 км от Ташкента. Транспорта никакого не было, когда не удавалось достать лошадь, Владимир Тимофеевич не раз и в зной, и в лютый холод возвращался домой пешком, чтобы остаться на одну ночь с женой и детьми. Наде пришлось продавать или обменивать свои наряды и драгоценности, чтобы прокормить семью, деньги полностью обесценились, кольцо с брильянтом стоило пуд соли. . . Совсем исчезли основные продукты питания — ни муки, ни сахара. Зарплату мужу выплачивали частично в виде сахара, который ему удавалось иногда обменять на мясо или фрукты и овощи у местных крестьян. К тому времени в семье уже не осталось прислуги, кроме гувернантки-француженки, которой некуда было уехать. . . Она осталась в семье Вербовских: кроме родителей и четверых детей с ними жили тёща мужа — бабушка Глафира — и парализованная сестра жены Клавдия. Нужно было кормить 9 человек!

Вскоре началась насильственная экспроприация. Как снег на голову, в сопровождении вооруженных солдат нагрянули представители местного партийного комитета и вручили Наде приказ — освободить дом в 24 часа. С трудом удалось уговорить начальство продлить этот срок ещё на один день. Вместе со старшим сыном она отправилась на поиски жилья. Найти что-либо было крайне трудно, ввиду наплыва беженцев из ещё более разорённых войной и революцией западных областей России. Удалось всё же найти маленький трёхкомнатный домик с небольшим участком. Переехали с помощью симпатизирующих мужу узбеков, которые одолжили осла. Большую часть вещей они по приказу большевиков были вынуждены оставить в прежнем доме, всё равно их некуда было вместиť на новом месте.

Надя первым делом развела огород в своём маленьком садике, посадила все главные овощи, даже клубнику. Потом ей удалось раздобыть несколько кур — дети получили возможность лакомиться яичницей.

Зимой 1918–19 года Надина мать Глафира умерла. Тело покойной привезли в домик. На похороны приехала её дочь Клеопатра. Дети очень любили бабушку — все сильно горевали. . . Наде было особенно трудно из-за присутствия предательницы-Клавдии, невоз-

можно было забыть историю её “романа” с Владимиром 1909 года.

Вновь открылись школы, закрытые во время революции, и девочки узнали, что такое “Советская” школа. Первое время в школе была очень своеобразная анархия, когда учащиеся сами могли руководить процессом обучения. Толку от этой свободы не было никакого, и вскоре этот метод сменился “социалистической дисциплиной”. Сёстры Ярослава, музыкально очень одарённые, продолжали брать частные уроки музыки. Надя оплачивала их овощами со своего огорода или яйцами.

Спасаясь от голода и ужасов гражданской войны, в Ташкент после революции перебрались из Москвы многие великие люди. Ирине повезло, она попала к замечательному педагогу, пианисту Всеволоду Буюкли. (Ученик П. Пабста, он закончил консерваторию в 1995 году, а в 1891–92 годах был учеником Ферруччо Бузони, прославленного не только в Москве, но и на западе, пианиста и композитора). Мать Буюкли — Б. А. Лебедева-Гецевич была преподавательницей музыки (её учеником одно время был В. Софроницкий), у неё училась другая сестра Ярослава — Татьяна.

Французская гувернантка уехала при первой же возможности. Старшая дочь Ирина в 1922 году отправилась работать в Москву, вместе с афганским посольством, куда её приняли на работу переводчиком ещё в Ташкенте, ей было 17 лет. Года через два или три после отъезда Ирины умерла Клавдия. Постепенно количество едоков уменьшилось. Жить стало легче, приспособливались... В домике осталось пять человек.

Но в год смерти Ленина большевики в Средней Азии совсем озверели, стараясь укрепить свою власть, они искали возможности как-нибудь ещё обогатиться, началась усиленная ловля бывших “буржуев”. В 1924 году, когда Владимиру Тимофеевичу было всего 48 лет, его арестовали и быстренько расстреляли. Перед этим его пытали, пытаясь выяснить, где зарыто золото царского правительства. На этот вопрос у него не было ответа. Надя пыталась выяснить, где его похоронили, с большим трудом уговорила охранника тюрьмы, за оплату, конечно, показать ей, где зарыли её мужа. Получив два золотых кольца — остатки Надиных “фамильных” драгоценностей, он все же согласился, хотя и говорил, что рискует навлечь на себя гнев начальства. На рассвете она пришла со старшим сыном Николаем, которому было около 16 лет. Охранник повел её во двор тюрьмы и показал бедной Наде, где закопали её мужа. Мать и сын стали рыть землю руками, осторожно расчищали насыпанную свежую землю, и, наконец открылось его обезображенное пытками отёкшее лицо.

Николай от этого впечатления уже не оправится никогда... Мне тоже очень трудно об этом писать. Хорошо, что тринадцатилетний Ярослав не видел этого ужаса.

Его сестре Ирине решили пока не сообщать о смерти отца, в письмах к ней Надя ничего ей об этом не писала. Но в апреле 1925 года она с дочкой приехала в Ташкент из Афганистана, их встречали на вокзале всей семьёй... По их лицам она тут же поняла, что случилось... Ирочка решила не оставлять мать в её горе. Мужа её назначили послом в Турции, она решила туда не ехать, и жила в семье матери до января 1927 года. Подростки — дядя Коля и дядя Яра с энтузиазмом принялись за воспитание их крошечной племянницы Маги, играли с ней, учили её говорить по-русски, считать и рисовать. После смерти мужа Надежда осталась совсем без средств к существованию, но её афганский зять понял отчаянное положение семьи и решил регулярно посылать теще треть своей зарплаты. Своё обещание он исполнил.

После отъезда дочери к её мужу, Надежда решила тоже уехать из Ташкента. Детям нужно было дать хорошее высшее образование, Татьяна только что закончила школу и стремилась в консерваторию, Николай хотел попасть в Академию художеств. Времена менялись не к лучшему. Повсюду требовалось заполнять анкеты, подробно отвечать на вопросы о родственниках. Остаться там, где их знали, вдове и детям репрессированного мужа стало просто опасно...

К сентябрю 1927 года мать Ярослава переехала в Ленинград. Ей повезло — удалось снять две комнаты в большой коммунальной квартире в центре города. Надя и оба её сына спали в большой комнате, а Татьяне выделили маленькую комнату. У неё полкомнаты занимал большой рояль Бехштейн (C. Bechstein), который они привезли с собой из Ташкента. Таня сразу же поступила в Консерваторию. Надежда вскоре нашла работу — преподавала рукоделие в школе. Коля тоже начал зарабатывать — работал грузчиком в порту по выходным, там не пришлось заполнять анкету. Яра продолжал учиться в школе, ему было 16 лет. После солнечного Ташкента, где у них был к тому же огород, в первую же зиму в Ленинграде Ярослав заболел, начал кашлять. Оказалось, что у него туберкулёз — целый год он провёл в санатории, где ему здоровье подправили. Зато можно было запоем читать любимые книги.

Как только финансовая ситуация стала лучше, Николай поступил в Академию Художеств и вскоре стал одним из лучших её студентов. В 1933 году он женился на очаровательной польке, при-

вёл свою жену в ту же комнату, где жили его мать и брат. Других возможностей тогда просто не было. Всё жильё было государственным, снять ничего не удавалось — всюду было перенаселение.

Ярославу, конечно, не понравилась эта скученность, и он уехал в 1934 году учиться в Москву, где поступил в Библиотечный институт. Он много времени уделял своей племяннице, которую очень любил. Давал ей читать замечательные “взрослые” книги. В том же году десятилетнюю Магу, наконец, приняли в немецкую школу — знаменитую Петершуле. Она эту школу очень полюбила.

Через год Николай решил развестись, после того как увидел свою жену целующейся с другим юношей. В декабре 1934 года, после убийства Кирова, Сталин был так напуган, что решил ответить террором на “теракт” Николаева. Он замыслил “узаконить” репрессии, которые в то время уже шли по нарастающей. Начались гонения и на студентов. Коле угрожал арест, он чувствовал постоянную слежку, его положение стало просто невыносимым. В конце 1937 года ему удалось удрать из-под слежки, чтобы съездить на один день в Москву, попрощаться с сестрой перед её отъездом в Афганистан. Он ей настоятельно советовал уезжать, пока есть такая возможность. Вскоре его “посадили”, три года он провёл на Соловках. А потом погиб на войне.

Ирина все тридцатые годы жила в Москве с дочкой Магой, а муж её в эти годы находился в тюрьме в Кабуле, и никакой связи с ним не было до конца 1937 года, когда внезапно ей передали от него записку. Зимой они жили у своих родственников, в чрезвычайно стеснённых условиях, нередко довольствуясь лишь частью общей комнаты, им приходилось часто переезжать. . . Зато на летние месяцы Ирина старалась вырваться из города на природу, несколько лет ей удавалось снимать дачу в Подмосковье. Ярослав и Николай вместе с матерью летом часто приезжали к ним на дачу. Надежда была самой лучшей бабушкой на свете. Там собиралась многочисленная родня, было очень интересно послушать рассказы взрослых о былой жизни, Мага впитывала всё, как губка, запоминала семейные предания — память у неё была феноменальная.

В декабре 1937 было объявлено, что Петершуле, как и все “шовинистские иностранные” школы, закрывается. Террор достиг своего апогея. В марте 1938 года Ирина, которой велено было убраться, если она не откажется от своего афганского гражданства, с дочерью покинули страну навсегда. В Кабуле им пришлось носить чадру до 1946 года.

Но вернемся к первому визиту Ярослава ко мне домой.

Не знаю, что на меня нашло, но за чаем я вдруг похвасталась, что умею гадать по руке. Ярослав тут же стал меня упрашивать умоляющим голосом: “Погадайте!”. Немного поломавшись “для порядка”, я всё же согласилась. У него были изумительные линии на руке. Я вдохновенно пророчествовала, он только удивлялся, откуда я могу знать такие детали его жизни и характера... Затем, расчитав на ладони длину линии жизни, я с глупейшей прямоотой, ещё более свойственной мне в юности, объявила ему, что жить ему предстоит чуть более 60 лет.

Тут он посмотрел на меня с улыбкой, полной удивления и недоверия, и своим глухим, тихим голосом произнёс:

— Но ведь мне уже 59 лет...

Я была настолько потрясена и смущена, что впору было тут же провалиться под землю. Я ведь совсем не представляла себе его возраста, когда предрекала ему смерть через пару лет. Кажется, он мне не поверил или сделал вид, что это не имеет для него никакого значения.

Тем не менее, ошиблась я совсем не на много. В начале 1976 года, не дожив до 65-и лет, он умер от рака. Умирал он на квартире Кедринских, Валя его забрала из больницы, когда врачи уже отказались его лечить, так как он был безнадежен. Перед отъездом в эмиграцию, в январе 1976 года, я пришла к ним прощаться на улицу Росси. Ярослав Владимирович напутствовал меня удивительными словами: “Ты, Лиза, молодец, ты — смелая, и правильно делаешь, что уезжаешь. Другим я не советую уезжать... Но ты — там, в Париже — не пропадёшь, я уверен, что у тебя всё будет хорошо!”

Дача Берга

Странная история. . . С дачей академика Берга, которому Нобелевской премии не досталось, связаны сразу три Нобелевских лауреата. Последний из них там и сейчас “прописан”. Нынешний её владелец — физик, академик Алфёров, ему вручили “Нобеля” в 2001 году, он разделил премию с двумя американскими учёными.

Но до него, в 1987 году, “Нобеля” удостоился наш великий поэт Иосиф Бродский (Joseph Brodsky). В былые времена, когда наша семья находилась в Академгородке под Новосибирском, поэт часто приезжал на нашу дачу в Комарово, где он гостил у художника Якова Виньковецкого, мамино хорошего друга. Яков жил в моей комнате, на втором этаже, писал картины зимой, ставил их сушиться на балконе возле электрической печки и однажды устроил локальный пожар. Страшно перепуганный, он понёсся в одних носках по снегу в контору и вызвал пожарных, которые моментально приехали и спасли наш дом от полного уничтожения. Этот эпизод случился зимой 1964–1965 года.

А третий лауреат “Нобеля” — академик Л. В. Канторович. Он хотел купить нашу дачу в 1973 г., и даже подписал с моей мамой, Раисой Львовной Берг, с которой его связывала давнишняя дружба, купчую, но так и не смог стать её владельцем, потому что КГБ устроило на даче большой пожар сразу же после “подписания”.

Тогда Канторович был уже признанным гением, его выдвигали за заслуги в экономике в качестве кандидата на Нобелевскую премию вместе с А. И. Солженицыным ещё в 1970 году. Солженицын её так и получил. Гром среди ясного неба. От этого головокружительного и опасного успеха у Канторовича обострился латентный маниакально-депрессивный психоз. . . Пришлось его поместить в больницу, где его маниакальная стадия МДП была успешно подлечена.

Знаменательно, что “Нобеля” он всё же удостоился, но позже, в 1975 году, причём, одновременно с Андреем Дмитриевичем Сахаровым. Опять попал в крамольную компанию. Это было уже после пожара столь желанной им дачи и выезда моей мамы в эмиграцию.

Тем не менее, поразительный факт, что пережив два пожара, “наша дача”, дача академика Берга, не перестала играть роль гнезда, приносящего мировую славу своим “птенцам”.

Нашу дачу в Комарово, а вернее, дом, где прошли все каникулы моего детства, подожгли в ночь с 9-ого на 10-ое ноября 1973 года. По словам очевидцев, пожар был роскошный. Жаль, что мне лично не пришлось присутствовать.

Нам позвонили где-то около часу ночи и сказали: “Ваша дача полыхает”. Мы были в городе, на своей питерской квартире на Маглина, (теперь — Английский проспект, как до революции).

Но наутро мы с мамой приехали спозаранку; пол-десятого, с замиранием сердца, мы уже подходили к “пожарищу”. Дом снаружи почти не пострадал, отсутствовала часть крыши, и двери все были настежь. Но внутри. . . Второй этаж, где одна из двух комнат была моя, — просто отсутствовал. Его уже не было, как и лестницы, которая к нему вела.

Под лестницей, на месте выгоревшей кладовки, была настоящая воронка, которая продолжала дымиться, несмотря на то, что ночью три пожарных машины вылили тонны воды. Как будто там бомба взорвалась. Странное впечатление. А впрочем, впоследствии я обнаружила в саду на клумбе пустую канистру из-под бензина, что прояснило криминальный характер пожара.

А все остальные четыре комнаты — внизу — были целы, но в разной степени покрыты копотью и сажей. В двойной двери, ведущей на веранду из проходной комнаты, игравшей роль гостиной, стекла оказались выбиты. Дверь эта была заперта на ключ, причём дважды. Поджигателям, в спешке покидавшим горящий дом, пришлось в голову вылезти через эту дверь на веранду, разбив стекло.

Чистые осколки стёкол валялись на веранде на полу, а все остальные стекла были чёрными от сажи. (Улика №3). Чтобы не пораниться, пролезая в образовавшуюся дыру с торчащими острыми углами стёкол, они достали из шкафа репсовый летний костюм ярко-зелёного цвета из плотной ткани — продырявленное “свидетельство” поджога валялось на полу возле двери в растерзанном виде. (Улика №2).

А первая — это разбитое окно в ванной комнате, через которое преступники проникли в дом. Стёкла — совершенно прозрачные и чистые, не закопчённые пожаром, лежали под окном снаружи. Я сама их обнаружила, видела, как говорится, своими глазами.

Несколько дней спустя меня вызвали, якобы в милицию, где следователь, которому поручено было “расследование” этого пожара, пытался убедить меня в том, что мы сами виноваты в пожаре, что, уезжая с дачи в тот же день, мы не погасили окурки или что-то в этом роде. . . И это за десять часов до пожара! Я ему объяснила, что

налицо — кража со взломом, плюс поджог. У меня есть неоспоримые доказательства. Разбитое до пожара окно в ванной, единственного помещения в доме с не запертой дверью. Стёкла — не закопчённые. И прочие все улики перечислила.

Когда мы в следующий раз приехали в Комарово, земля уже покрылась тонким слоем снега, а “улики” — осколки чистых стёкол . . . исчезли не только под окном ванной, но даже и внутри дома, на веранде. Интересная деталь! Их кто-то успел убрать, причём сразу же после моей беседы со следователем. Моя любимая веранда вообще не пострадала. Там, в угловом шкафчике, я с великой радостью и изумлением обнаружила драгоценный флакон моих французских духов — Мадам Роша. Прекрасно помню свою радость, как некий подарок судьбы — не украли!!! Но где же грибы, которые я сама солила, они же стояли на столе, вернее, на дачном буфете, на той же веранде. Так вот: они исчезли. Причём все, и в баночках — больших и малых, — и в кастрюльке. Камни остались на поверхности.

Кто же их украл? Те, кто поджигали, или соседи, пришедшие наутро, чтобы вынести всё, что можно, из дома, якобы оберегая наше добро от воров? Как, например, родственники великого композитора присвоили бронзовую лампу моего деда. Но их видели другие “доброжелатели” и нам донесли. . . Так вот, они якобы спасали нашу лампу от воров, ну и грибы, наверное, тоже... “спасли”. Но мне уже было как-то всё равно, как-то “не до грибов”. Потерявши голову, по волосам не плачут. Впрочем, эта поговорка скорее про Марию-Антуанетту.

И три чудесные книги тоже были украдены, уже после пожара. На их месте на столе явственно выделялся след — не засыпанный сажей прямоугольник чистой кожи чёрного цвета. Любители книг не поленились встать пораньше.

Спустя два месяца моя подруга Люда мне рассказывала, как Ольга Баранникова прятала какие-то книжки, когда Люда вдруг напросилась к ней в гости.

Я спросила Людмилу, какие именно книжки прятала Ольга. Причём, Люда не знала, какие книги пропали у меня на даче во время пожара. И тут выяснилось, что прятала она, по словам Люды, Альбера Камю, “Чума”, на французском языке (в карманном издании, толстенький, любимый мой Камю), сборник Андрея Платонова (редкое издание!) и ещё какую-то книгу. . .

И мне вдруг “всё стало ясно”. Тогда мне это показалось неоспоримым доказательством, что именно Ольга и виновна в пожаре.

Теперь, когда прошло 30 лет, я вдруг всё вспомнила очень по-

дробно и поняла, что Ольга не виновата ни в чём, кроме мелкой кражи. Но и это я ей прощаю и даже более того, прошу у неё прощения за то, что могла её заподозрить и в связях с КГБ, и в выполнении данного ими задания — поджога моего любимого дома, где прошли самые счастливые годы моего детства.

Накануне пожара я сама закрывала дачу на зиму. Мы уехали в два часа пополудни, после “праздника” 7 ноября, когда мы там в последний раз ночевали. Сестра Маша пригласила гостей, некоторые из них оставались с нами два дня на даче. Вечером восьмого ноября заходила в гости и соседка, моя подружка Оля Баранникова, со своим молодым мужем. Мы с ними немного поболтали, и в полночь они ушли к себе домой.

Утром я всё убрала, дочиста вымела пол, собрала постельное бельё, чтобы постирать в городе, и внезапно решила, что жаль оставлять прекрасные картинки в запертом на зиму доме. Сняла со стен не только большую репродукцию Вермейера (девушка в малиновом платье, читающая у окна письмо), но даже наши детские рисунки, и увезла их в Питер, в городскую квартиру.

Мудрое решение, хоть что-то удалось спасти. Предчувствие ли это было, или добрый ангел-хранитель сумел подсказать?

Потом мы заперли дом и вышли в мокрый осенний сад. Наш “участок” (60 соток), на три четверти покрытый сосновым лесом, в силу субъективности восприятия, казался гораздо меньше в сравнении с тем же садом моего раннего детства. . .

Почти у самой калитки я обернулась и посмотрела издали на наш розовый деревянный дом при закатном освещении по-зимнему низко стоящего солнца, на покрытую золотыми и бурыми листьями крышу, которая представляла собой дивную абстрактную картину, на фоне северного, лиловатых тонов неба, в обрамлении узора из чёрных стволов обнажённых лиственных деревьев и темно-зеленой хвои елей и рыжих сосен. . . Мы несколько мгновений стояли, любуясь и с грустью прощаясь с этим милым домом, не ведая, что этой крыши мы больше никогда не увидим.

2003

Митя Орбели

В наших детских играх главную роль играл маленький мальчик, сын наших соседей — Митя Орбели. 1946 года рождения, он был поздним и единственным ребёнком директора Эрмитажа, академика Иосифа Абгаровича Орбели и Антонины Николаевны Изергиной, которая заведовала там же отделом импрессионистов.

Большие карие глаза, правильные черты лица, худющий, с тоненькими ногами, Митя приезжал к нам на дачу на велосипеде, чтобы пригласить меня и сестрёнку Машу к себе — играть. Это было интригующе интересно и никогда не скучно. С ним мы так веселились, что эта радость осталась на всю жизнь, как подарок судьбы.

Этот Митя — умный и обаятельный мальчик — был щедро наделён редкостными дарованиями. Поражало в нём и то, что он знал о жизни нечто такое, что нам и в голову прийти не могло. Митя знал, что рано умрёт. Причём, к смерти он относился с юмором. Всегда смеялся над ней. Как будто жалел всех, кто его любил и жалел, не хотел их огорчать... У него был врождённый порок сердца — незаросший Баталов проток. Его маме было сказано, что без сложнейшей и опасной операции ребёнку едва ли удастся дожить до 18 лет. Шансы выжить после требуемой операции тогда не превышали пяти процентов. Мать решила операцию не делать.

Когда ему было 4 года, он уже выбрал свою будущую профессию. Он хотел стать врачом и уже в пять-шесть лет знал не только специфический медицинский жаргон, но у него уже имелись солидные познания в анатомии и фармакологии, он мог назвать по-латыни любую кость и многое другое.

Мы, естественно, увлекались игрой в доктора. В крайнем возбуждении мы, девчонки, просто сгорали от любопытства, что ещё придумает этот вундеркинд. Мы всегда были его «пациентами». Митя — доктор, приняв важный и суровый вид, ставил нам не только диагноз после ряда нескромных и смешных вопросов, но и лечил нас в «диспансере» — маленьком деревянном домике, специально для игр построенном в саду. Примочки, компрессы, уколы, банки и горчичники, таблетки (ненастоящие) и даже настоящий массаж — мы просто подышали от смеха. К тому же, он был поэт и неутомимый затейник, артистически декламировал стихи и рассказывал массу смешных историй, и анекдотов знал великое множество. Память у него была — феноменальная. Обладая приятным голосом и

имея хороший слух и память, он пел нам и взрослым арии из опер вроде “Пиковой Дамы” — непередаваемо смешно.

На наши дни рождения в июле и в августе Митя Орбели организовывал настоящие спектакли. Он был и режиссёром, и актёром, и декоратором. Театральные сценки — сценарии к ним он сам сочинял, вокальные номера, шарады, акробатические номера, в которых мы с сестрой были сильны...

Его обаяние и артистизм, в сочетании с эрудицией, были неподражаемы и притягивали к нему не только детей. С ним всегда было весело и интересно, все каникулы в Комарово мы почти десять лет подряд проводили вместе.

Это и было счастливое детство.

А в мои тринадцать лет, когда я обнаружила, что он отдаляется от нас из-за новых своих “взрослых” увлечений, мне показалось, что я в него влюблена, и мне пришлось пережить свои первые “страдания” от неразделённой любви. Его бодрая весёлость, фантастически-мрачный юмор, в сочетании с умом, безошибочным тактом и врождённым вкусом — одним словом, он обладал тем, что называют харизмой. Не попасть в сети его обаяния было невозможно.

Митя превратился в юношу очень рано, когда мне ещё и мечтать не приходилось — привлекать взоры противоположного пола. Потом мне стало известно, что в пятнадцать лет он уже был страстно влюблён в длинноногую красавицу Татьяну. “И жить торопится, и чувствовать спешит” — это про него сказано. Высокая, статная, рано “созревшая” черноволосая девочка с синими глазами была так прелестна, что Митя влюбился с первого взгляда. Ей тогда было всего 13 лет. Он страшно удивлялся: “Этого не может быть! Неужели ей только 13 лет? Она кажется совсем взрослой!”. Нам, то есть всем окружающим, она казалась довольно странной девочкой, с ней не о чем было говорить, её ничто не интересовало, она имела всегда какой-то рассеянно-отсутствующий вид.

В тот период Митя посвятил ей поэму, написанную в 1961 или в 1962 году в стиле Маяковского.

МАЯКОВСКОЕ

Пролог

Когда больно —
не могу молчать,
Гладить в одиночестве
нервы обнажённые.

Люди! Смотрите! —
Хочу показать
Прерванным поцелуем
губы обожжённые!
Другой замыкается,
горе если,
Сам с собою
рыдать рад,
А я
демонстрирую
на мировом конгрессе
Собственной души
просветлённый препарат!
1.
Жил на свете
маленький мальчик.
Стрелял стрелами.
Звали — Эрот.
Ему зачем-то
выломали пальчики
И больно разорвали
целующий рот.
Он, малютка,
бегал голенький,
Колчан подпрыгивал
над розовым
задиком,
Его задушили,
одели покойником
И залили асфальтом
на мостовой
за садиком.
Я ли не терзался?
Не был ли я?
Мысль о мозг
истрепалась,
как книжонка —
Кто виноват?
Вы или я?
Кто убил
пухленького божонка?

Я?
Хорошо!
Пусть так!
Вполне допускаю
подобную ситуацию.
Мой темперамент
пьянит, как коньяк,
И вызывает
души токсикацию.
Так что же мне делать?
Пить бром?
Или скорее
идти к концу?
Резать вены?
Встать под гром?
Лечь
отравленным
под туф, к отцу?

2.
Танечка!
Милая!
Мне Вас жаль до боли:
Девочке на шею —
этакую гирицу!
Вы ещё маленькая,
учитесь в школе,
Совсем не знаете
мир ещё!
А я влетел —
ни нежности, ни такта,
Хищным ртом
признанья орал!
Вы считаете
разрыв антрактом?
Милая!
Бросьте!
Это — финал!
Знаете,
я ведь князь, говорят!
Я армянин —
потому сумасшедший!

Мой поцелуй
 жгуч, как яд,
Я — диавол,
 искушать пришедший!
Моя любовь
 Галактикой плещется,
Губы разверсты
 Млечною дорогою!
Моя страсть
 граничит с бешенством!
Я даю много,
 и требую многого!
У меня поцелуев —
 миллионы легионов,
Любовь девочки
 из седьмого класса
Мне жмёт,
 как жали бы детские кальсоны,
Натянутые на бедра
 Прометея или Атласа!
Я уйду.
 Умоляю — не жалейте.
Пусть каждый
 идёт
 своей дорогою.
Вы,
 нежная,
 играйте на флейте,
А я склонюсь
 над мрамором
 морговым.
Вы хандрите?
 Слезы — сок польний?
Мирочек Вам кажется
 сереньким и тесненьким?
Не надо! Вспомните,
 как у моря
 в ультрамарине
Коктебельские наяды
 распевают песенки!

3.
 С надеждой гляжу
 на книжную рать,
 Открываю энциклопедию,
 тысячекратно прославленную.
 Изсловаренные страницы
 начинаю листать.
 Нашёл статью,
 “Любовь”
 озаглавленную.
 Голову нашопенгауэрил
 философией
 эротики,
 По странице
 рассеянный взгляд
 скользит.
 Вот —
 “Люмбаго”.
 Терапия — наркотики.
 Показано лечение
 в исцеляющей
 гязи.
 Полез в медицину —
 всё в порядке.
 Чума.
 Сифилис.
 Несчастный случай.
 Приятно!
 Как будто чешут пятки!
 Даже, пожалуй,
 немного лучше!
 Не любит — не надо.
 Не изгрызен мукой.
 Любовь — лотерея,
 какой в ней прок?
 Зато мне
 приготовлен
 наукой
 Ещё неизвестный
 человечеству
 кокк.

в присутствии друзей он никогда никакой меланхолии не показывал. Всегда был весел и крайне внимателен к окружающим, далеко не всегда его состояние можно было назвать эйфорией.

Митя Орбели успел закончить Медицинский институт — блестяще, получив диплом с отличием. Умер он внезапно, когда ему только что исполнилось 25 лет. . .

Его сын Егор, очень в детстве похожий на маленького Митю, с которым я дружила, вырос без отца. Подавая надежды стать талантливым художником, Егор Орбели прожил всего 28 лет, покончив с собой в полубезумном состоянии. Он повесился в Комарово, на даче своих родителей.

У него остался отпрыск, правнук великого учёного и директора Эрмитажа — Иосифа Абгаровича Орбели. Егоркин сынок — тоже Митя — родился у совсем сумасшедшей мамы, дочери академика Линника. Старше Егора лет на 15, она страдала острой формой психоза. Ребёнка у неё отобрала бабушка, мать Егора, та самая длинноногая красавица, в которую Митя влюбился в Коктебеле, когда ему было не более 15 лет.

Однажды я присутствовала при занятом сеансе хиромантии. За столом сидели две “гадалки” — наши уважаемые мамы. Моя мама, Раиса Львовна Берг, и мать моего друга Мити — Антонина Николаевна Изергина, к тому времени уже вдова Орбели. Тотя гадала по руке моей матери, а моя мать — Тотя. Обе, конечно, относились к этому занятию не очень серьёзно. И вдруг я подслушала, что Тотя, с печальным выражением лица, шёпотом сказала моей матери:

— А у моего Мити на левой руке линии сердца — нет, она вообще отсутствует.

Одна из главных линий, присутствующая у всех людей — и вдруг, отсутствует. . . Странно и удивительно, однако — это факт, что такой серьёзный порок сердца имеет свой “отпечаток” на ладони.

2004–2008

Как трудно потерять невинность

“Береги честь смолоду...”

В начале марта в Риге ещё повсюду лежал снег. Мы с подругой сидели в отдельном деревянном домике в каком-то модном Рижском ресторане. Молодой весёлый бизнесмен — сын моей подруги Денис — привёз нас туда на своей шикарной машине. Рядом с ним сидела юная красавица — его новая пассия. В уютном домике было тепло, а за окнами зимний пейзаж — романтический сад, весь в белоснежном уборе. На нарядно накрытом столе стояли букетики живых цветов и лежали меню. Увлекательное чтение для голодных людей. Поражала изысканность и разнообразие блюд. Улыбчивая официантка немедленно приняла заказ.

В ожидании пира мы весело болтали. Вдруг Денис, с лукавым видом, спрашивает меня:

— Тебе можно задать один нескромный вопрос?

Я говорю: “Пожалуйста”.

— Расскажи нам, Лиза, как ты потеряла невинность.

Эту фразу он произнёс — в присутствии матери и своей подруги — в шутовской манере, с дурацким смешком, как вызов. Его мать была явно шокирована такой наглостью своего взрослого сына. Я же решила, что на самом деле можно рассказать этот эпизод из моей биографии, никого не шокируя.

— Ну что ж, пожалуй, и расскажу, может выйти забавный рассказ, история — совсем не тривиальная. Денис, особенно, когда уже выпил рюмочку, обычно не умел слушать не перебивая, но тут просто расцвёл в улыбке и сосредоточился, весь превратившись в слух.

В июле 1963 года мне исполнилось 16 лет. Мы с моей младшей сестрой все летние каникулы проводили на даче в Комарово. Это было последнее лето перед переездом в Сибирь, в Академгородок под Новосибирском, куда пригласили работать нашу маму. У меня в это лето появилось немало новых подруг и приятелей, образовалась интересная компания. У нас на даче жили в тот год замечательные молодые люди — Марина и её то ли муж, то ли жених Гена Шмаков. Они были явно влюблены друг в друга. Потом они поженились. Вокруг них царилла какая-то особая, празднично-эротическая атмосфера. Любовь! К ним приезжали в гости интеллигентные друзья,

в числе которых оказался просто неотразимый красавец: высокий и стройный К. А., редкое сочетание синих глаз (“упорные взгляды” Дон Жуана) и роскошной чёрной шевелюры. Ему только что исполнился двадцать один год, но он уже закончил филфак университета и наизусть читал нам собственные переводы разных прекрасных поэтов, Рильке и Бодлера. . . У него был такой прекрасный, “гормональный” тембр голоса и какая-то особая, чувственная манера говорить. Совершенно оригинальный ритм речи. Со мной в его присутствии творилось нечто неопишное — так он мне вскружил голову. Я непрестанно думала о нём. Оказалось, что он снял на август себе комнатушку в Комарово, только не в нашем академическом посёлке, а на другой стороне железной дороги, довольно далеко. Там, где по соседству жили знаменитости: там были дачи Евгения Шварца и Анны Ахматовой.

Наконец, К. А. пригласил меня в гости, в свой крошечный деревянный домик, вроде сарайчика. Когда я приехала к нему на велосипеде, у него на кровати сидели две девушки, года на два старше меня. Мы познакомились, они оказались студентками-филологами. Таня Н. интересовалась обэриутами (я впервые от неё услышала это слово), а Лариса В. занималась математической лингвистикой. С ними у меня завязалась дружба на многие годы. Разговоры наши были крайне увлекательными. . .

Потом мы с моим кавалером катались на велосипедах, ехали по главному проспекту нашего посёлка и, конечно, болтали. Встречались, как будто, случайно. Мой “вёлик” был тоненький и лёгкий — “полугоночный”. Я похвасталась, что умею кататься “без рук”, не держась за руль. Однажды, в солнечный день, он мне предложил такой трюк: “Ты, Лиза, будешь держаться за мой руль, а я — за твой, и так мы рядом вместе поедём”. Я же сдуру согласилась. Даже в таком юном возрасте должна была быть умнее, но надо сделать скидку на полное размягчение мозгов в том моём состоянии влюблённости.

Как только мы поехали при таком неестественном скрещении рук, как я потеряла равновесие и полетела на шершавый асфальт. Несчастливая моя коленка оказалась сильно поранена, было очень больно. Кожа была совсем содрана, образовалась большая открытая рана. Я вела себя очень мужественно, даже не рассердилась на него, а мой легкомысленный юноша страшно побледнел, увидев кровь, испугался не на шутку. Что теперь делать? Он чувствовал себя ужасно виноватым и взялся проводить меня поскорее домой, на нашу дачу, от которой мы были недалеко. Там я, скрывая смущение,

с гордым видом раненого бойца, истекающего кровью, дохромала до ванной, поддерживаемая моим красавцем. В этот момент в доме оказалась тёща моего старшего брата, она просто глаза вытаращила, наблюдая эту сцену. . . Как сейчас, помню её крайне неодобрительные взгляды. Дверь в ванную за нами закрылась. . . Я смыла кровь, и К. А. помог мне забинтовать рану. Испытывая совершенно новые для меня чувства, как ни странно, боли я почти не ощущала. Возбуждённая прелестной близостью юноши, ставшим для меня таким желанным, я впервые чувствовала себя не ребёнком, а женщиной и просто была счастлива, хотя это и трудно объяснить, но факт. Шрам на коленке остался на всю жизнь.

После таких приключений я уже точно знала, что влюбилась по уши. Мне стало совершенно ясно, что К. А. и является тем избранником, которому я хочу отдаться. Именно он вполне достоин лишить меня девственности. Я понимала, что это моё решение чревато опасностями. Мне почему-то и в голову не приходило, что сначала нужно подождать, когда он сам проявит инициативу, даст мне понять, что именно ему хотелось бы затащить меня в постель. Ну, хотя бы поцеловать для начала. . . Но мы даже ещё ни разу не целовались. . . Мне и в голову не приходило, что я могу ему не нравиться, ведь он со мной говорил и катался на велосипеде, и напускал шарма, и стихи мне читал! Опасность, с моей точки зрения, была только одна. Было у нас такое смешное выражение: “Детей бояться — в лес не ходить!” Я совершенно не знала, что нужно делать, чтобы не забеременеть. Эта мысль стала моей доминантой. Нужно было срочно выяснить, какие способы или методы, говоря научным языком, существуют, чтобы избежать зачатия.

Спрашивать взрослых или подруг? Это было бы безумием, это совершенно исключалось. Я нашла в домашней библиотеке тоненькую научно-популярную книжку под увлекательным названием: “От чего зависит пол ребёнка?” С упорным вниманием читая эту книжку, я надеялась найти хотя бы какой-то намёк на тот факт, о котором интуитивно догадывалась, что зачатие происходит не в любой день цикла. А в какой? Этого я не могла знать, в школьной программе по биологии мы этого “не проходили”. Книжка была очень интересная и познавательная, но про методы предохранения от беременности там не было ни слова. И всё же нужная мне информация, подтверждающая, что зачатие возможно лишь в конкретный момент цикла, там имелась. Оставалось додумать самой. Я (ошибочно) решила, что, вероятнее всего, “опасный” период должен быть ближе к концу цикла, а в начале его яйцеклетка ещё не созрела.

Это хорошо, подумала я, у меня как раз был именно такой период. Всё прекрасно складывалось. Медлить было опасно. Решение было принято мгновенно. План был простой. Когда все уснут в доме, я сбегу к нему ночью. Просто явлюсь к нему в его маленький домик и постучусь в дверь. Поскольку я спала на веранде, мне не нужно было проходить через комнаты, где спали стражники моей добродетели. Из веранды дверь вела в сад, где стоял мой велосипед. Но брать ли его или пойти пешком?

Решила, что ночью ехать по плохо освещённым местам опасно, лучше — пешком. Вечером, сильно волнуясь, я читала в постели под одеялом, рядом на стуле стояла настольная лампа (она была настольная). Когда я уйду, надо будет её чем-то прикрыть, чтобы свет не привлёк внимания, если та самая карга — тёща брата — ночью проснётся, захочет пойти в туалет. . . Я думала, что придётся возвращаться в темноте, и лучше оставить свет, чтобы бесшумно двигаться, когда я вернусь на свою веранду.

Вот уже все угомонились, настала полнейшая тишина, все спят. Почти час ночи, можно вставать. Сердце сильно забилося. Я быстро оделась и красиво причесалась. Хорошенько взбила своё одеяло, так его уложила, чтобы казалось, что я с головой под ним укрыта. . . Высокий абажур на лампе я прикрыла каким-то тёмным платком, оставив щёлку, чтобы не загорелся от перегрева. Полумрак, всё хорошо. Дверь с французским замком я не захлопнула, только прикрыла, оставив едва заметную щёлку.

Луны не было, ехать на велике без лунного освещения — неразумно. Выскользнула в сад, соблюдая полнейшую тишину, и радостно помчалась на свое первой любовное свидание, стараясь думать лишь о том, как быстрее добежать и сумею ли я найти его домик во мраке. Думать о том, что мне предстояло, я себе запретила, чтобы выдержало сердце, особенно на бегу. Всё-таки страшно немного. Одна во всём спящем мире. Наверное, я не бежала, а просто очень быстро шла большими шагами, так я всю жизнь неслась, почти не касаясь земли.

Быстро добралась до цели, не встретив никого на пути. Только кроны деревьев на немыслимой высоте шумели в ночи как-то неодобрительно. Пробирала дрожь, в августе ночи уже прохладные. Наконец, уже перед его дверью, на меня напало смущение. Свет нигде не горит, время позднее, уже почти два часа ночи. Он, конечно же, спит, а я пришла его будить среди ночи. . . Но что же делать? Не возвращаться же назад. . . Я постучала тихонько. Жду. Тишина. Потом опять стала стучать чуть погромче. Наконец-то, дверь

приоткрылась и, мой принц, увидев меня или, вернее, услышав мой слабый голос, протянул руку, заросшую кудрявой мягкой шерстью, и втянул меня в домик, тут же закрыв дверь на ключ. Чудным своим баритоном он произнёс во мраке, с томной интонацией: “Что же это за котёнок ко мне ночью пришел?..” (А про меня говорили: “Не подходите близко! Я Лизка, а не киска!”).

— Вот, я уже не котёнок, извини, что разбудила, я пришла к тебе — отдаваться! — таков был мой смешливый ответ. Он вежливо засмеялся, но не без удовольствия.

— Хорошо, говорит, раздевайся и залезай под одеяло, а то мне холодно. И вообще надо спать. Я спать хочу! Сказано это было каким-то особенно скучным и прозаичным тоном. Даже не интересно. Я молча повиновалась. Что со мной творилось? Это невозможно описать. . .

Когда я залезла в узенькую постель, согретую его чудесным телом, моё смущение сразу улетучилось. . . Мне хотелось его целовать, что я и делала. . . Я была невероятно счастлива. А он? Казалось, что он был тоже доволен. Однако он попросил меня не гнать лошадей. Нужно поговорить. К. А. стал задавать мне вопросы.

— Это у тебя первый опыт, не так ли? — Я подтвердила.

Затем он совершенно серьёзно спросил:

— Как ты себе представляешь, для чего ты пришла и оказалась со мной под одеялом? Что мне с тобой делать? Понимаешь ли ты, что тебе всего шестнадцать лет и по закону ты — несовершеннолетняя? Это значит, что если я лишу тебя невинности, мне угрожает суд и тюрьма. Ведь твоя мать — суровая женщина — так этого дела не оставит. Помнишь, как она тебя заперла днём в квартире, когда ты собиралась ехать в Комарово на свидание со мной? Ты же мне сама рассказывала. . .

Мне тогда показалось, что это глупейший разговор.

Я говорю: “Ты не бойся, никто не узнает!”

— Ничего сложного тут нет, твоя мать сделает экспертизу, и всё, и тогда мне — конец! А я поступаю в аспирантуру. Ты подумала обо мне? И главное, чего ты не понимаешь, ведь это важно, очень даже важно для женщины, кто у неё был “первый”. Вот в Москве моя сестра, например, ужасно рыдала, так она жалела, что лишилась невинности до свадьбы, что не муж её лишил невинности. . . Так ей хотелось, чтобы это был её любимый муж. . .

Ну что можно на это отвечать? Я просто ему не верила. Впрочем, у него не было никакой сестры. . . Ну, может быть кузина какая-нибудь. . . Тогда я, целуя его в шею, шепнула ему на ушко:

— Ни жалеть, ни плакать я не стану, потому что я тебя люблю, вот и всё. И хочу тебя больше всего на свете.

Он тоже не оставался равнодушен, я убедилась, лаская его, в каком он находился возбуждении. Он был очень нежен со мной, целовал меня и ласкал.

И вдруг заявил, что кроме всего прочего, может быть, я не знаю, что мне будет очень больно, и тут же, легким движением предложил мне убедиться в этом. Это было уж слишком! Мне пришлось его разуверять:

— Ну что за глупости ты говоришь! Я боли нисколько не боюсь. Это — сущие пустяки и вовсе не аргумент! — Но он был упрям и неумолим.

Потом, видя моё разочарование, он решил обставить это дело иначе. Он хотел поубавить мой пыл, и смягчить моё чувство фрустрации. К немалому моему удивлению, мой возлюбленный признался мне, что хотя я и очень красивая девочка, но я не вполне соответствую его вкусам — он предпочитает полных девушек, а я для него — слишком худая. “Вот когда ты немного прибавишь веса — года через четыре, — у нас может быть роман” — твёрдо заявил К. А. Вот с этим аргументом спорить было уж точно бесполезно. Я проиграла.

Но наши ласки и беседы продолжались уже часа четыре. Где-то вдалеке пропел петух. Нам было так хорошо и приятно в постели, что время пролетело, как один миг. Невинности он меня так и не лишил, но меня переполняло ощущение счастья — я провела лучшую ночь в моей жизни.

На дворе уже было почти совсем светло, пора было мне уходить. Как мне жаль было с ним расставаться! Он встал, оделся и пошел меня провожать. Эта утренняя предрассветная прогулка по лесу вдоль железной дороги была восхитительна, только очень не хотелось возвращаться домой. Перед расставанием мы нежно поцеловались, и он ушёл к себе досыпать.

Я пришла на мою веранду и сразу же убедилась, что меня застучали, кто-то выключил лампу, а на моем одеяле прямо посередине спал наш котёнок. Для наглядности. Сразу было видно, что в кровати меня нет. Мне страшно хотелось спать, я не стала думать на эту мрачную тему и немедленно заснула крепким сном.

Спала я почти до двенадцати часов. Меня никто не будил, и на том спасибо. Но как только я встала, меня вызвали наверх, на допрос к разгневанной матери. Мне именно было передано, что она меня ждёт, чтобы я немедленно шла к ней. Значит, ей уже всё известно. Пришла. Что тут было!!! Гнев неопиcуемый и дикие угрозы.

Я молчала. Конечно, прозвучало слово “экспертиза”. Тут я твёрдо заявила:

— Это — ни к чему, невинности Он меня не лишил!

— Это мы проверим! — кричала в гнев мать, — И уж во всяком случае, в аспирантуру ему путь закрыт! Он будет отвечать за это безобразие. Совратитель!

Я пыталась ей объяснить, что он ни в чём не виноват, но всё было бесполезно. Она меня не понимала и словам моим верить не хотела. Мне было очень горько и противно, но я понимала, что это расплата за исключительные удовольствия моей “первой ночи” с любимым. В дальнейшей моей жизни это фатальное правило — дорого платить за все такого рода наслаждения — подтвердилось ещё неоднократно. Бывали случаи и похуже, расплата могла быть гораздо ужаснее. (“За наслаждение цена . . . бывает, ох, как дорога!” — есть такая строчка в моих стихах.)

Вам интересно, как меня застукали? Мне в тот же день со смехом об этом поведала та самая тёща моего брата. Она ночью встала и заметила, что на веранде горит слабый свет. Решила, что Лиза заснула и забыла погасить лампу. Она вошла на веранду, где было очень прохладно, лампу погасила. Кровать у неё подозрений не вызвала, так ловко было уложено одеяло. . . Увидев, что дверь не заперта, что в щель дует, она хотела дверь закрыть, но со стороны сада за дверью мяукнул котёнок, просясь в тепло, домой. Она его впустила, и тот сразу же прыгнул на кровать, а тёща не спускала с него глаз. Котёнок бойко прошагал по моему взбитому одеялу, приминая его, и тут ей стало совершенно ясно, что меня в кровати нет. Она забеспокоилась и вышла на крыльцо, думая, что Лиза вышла в сад пописать, чтобы не будить домочадцев. Она тихонько позвала Лизу, но никого в саду не было, и тут ей. . . ВСЁ СТАЛО ЯСНО. Лиза “гуляет” в ночное время, это просто скандал! Наутро она, первым делом, доложила об этом маме.

Моим слушателям мой рассказ очень понравился, но в то же время любопытство Дениса так и не было удовлетворено. “А потом?” “А потом — суп с котом!” — отвечала я, и в этот момент нам, наконец, принесли заказанные блюда. Для меня — какой-то сногшибательный рассольник, и мы, голодные, весело накупились на еду.

Мои университетские годы

Весной 1965 года я заканчивала школу-одинадцатилетку в Академгородке, под Новосибирском, получив квалификацию лаборанта-биолога. Кроме обычных занятий в школе, я проходила стаж в Институте Цитологии, где осваивала различные научные методики, в том числе — технику фотографирования гигантских хромосом в микроскопе. Экзамены на аттестат зрелости я сдала благополучно. С экзаменом по литературе запомнилось смешное приключение. Нужно было написать сочинение по роману Льва Толстого “Война и мир”. После экзамена меня по телефону вызвала в школу учительница литературы Наталья Ивановна, та самая, которая отговаривала меня поступать в Комсомол. Я пришла, не скрывая своего удивления. Шёпотом она мне сообщила, что я должна тут же, при ней сесть и быстро исправить ВСЕ ОШИБКИ в моём сочинении, а этих “ошибок” оказалось слишком много, и мне угрожала плохая отметка. Тут я вытаращила глаза в полном недоумении . . . поскольку по праву гордилась своей абсолютной грамотностью. Оказалось, что я написала с заглавной буквы не только слово “Война”, но и “Мир” в названии романа Толстого. Пришлось бритвочкой поскоблить, чтобы “снизить” букву М в слове “Мир” и проделать эту тонкую работу раз двадцать, а то и более. Других ошибок, к счастью, в моём сочинении не было обнаружено. В результате, за это сочинение я получила пять, то есть высший балл.

Мне ещё не исполнилось 18 лет, а в эту эпохальную сибирскую весну 1965 года, в унисон с ней бурно развивался мой самый страстный и трагический роман, с приступами дикой ревности, от которой я испытывала не только душевные, но и физические страдания. Мне казалось, что я была даже на грани смерти, так сильно я страдала. . . Впрочем, ревность моя оказалась вполне обоснованной. Избранника моего звали Карем. Талантливый журналист, 29-летний курдский “шейх”, единственный курд в Сибирских снегах решил “на пари” соблазнить мою ближайшую подругу — красивую и чувственную Таню. Успех такого пари был обеспечен, коварный план осуществился в благоухающем ароматами весны лесу. И этот наглый, опытный ловелас меня об этом незамедлительно оповестил. . . Пикантная подробность: школьная подружка Таня была в тот момент беременна на сносях, она успела выйти замуж, будучи ученицей одиннадцатого

класса. Мужу своему — юному студенту Сенечке — она долго не решалась признаться, что ждёт ребёнка. Узнав об этом, когда беременность длилась уже 4 месяца, он тут же сбежал, покинул её и уже пятый месяц не показывался.

В полном отчаянии и депрессии, три дня подряд я лежала в постели, глядя в стенку, с ноющей болью в области сердца, вызывающей непостижимый животный страх и, в то же время, нежелание жить. Такое состояние сильно контрастировало с моим легкомысленным кредо, с присущей мне «невыносимой лёгкостью бытия».

На третий или четвёртый день вдруг пришла ко мне подруга-соперница — просить у меня прощения. Таня еле тащилась со своим огромным пузом. Устроилась на стуле и долго сидела, крайне нелепо и неловко меня утешала и плакала. Особенно врезались в память её дурацкие слова о том, что она испытала в весеннем лесу во время грешного соития.

— Мне совсем не понравилось . . . произнесла она плаксивым голосом. . .

Я чуть до потолка не подскочила от гнева и возмущения! Наглое враньё!!! И что же? В её глупой голове это должно было меня утешить? Она как будто оправдывалась . . . и плакала, не переставая. Как же было её не пожалеть, особенно сообразив, каково ей будет одной рожать, без мужниной поддержки. «Ну, хорошо, я тебя прощаю» — говорила я, чтобы утешить её и сидящего в её животе младенца.

Внезапно я очнулась и остро осознала комизм и безвкусицу ситуации. . . И тут я приняла роковое решение — больше никогда не ревновать! И выполнила это решение, тем самым, вероятно, ампутировав свои дальнейшие чувства радикально. Это была прививка от ревности на всю жизнь. ЕГО я тоже решила простить, так мне было легче смотреть в будущее с неизлечимым оптимизмом. Я тогда своей жизни без него вообще себе не представляла — как Джульетта без Ромео, я готова была умереть. Такая любовь. . .

Сразу же после получения аттестата зрелости, сдав все школьные экзамены, я должна была выбрать Университет, в котором мне предстояло учиться. Однако, вопрос: «Куда поступать учиться?» — волновал меня, конечно, но в меньшей степени, чем «Где я буду жить и учиться пять лет?» Мать настаивала на том, чтобы я поступала в университет в Академгородке, в надежде на то, что я буду продолжать жить «в семье» и обслуживать её и младшую сестру. Хозяйство вела именно я, причем, с 13 лет.

Я всё покупала, и не только еду, но и одежду для всех троих, а

также и всё необходимое для дома, и готовила еду, а сестра помогала мне и маме, делая иногда уборку и стирку. Мама же, в роли единственного “кормильца”, зарабатывала деньги на всех троих всё более успешно. Она с рвением занималась наукой и преподаванием, и просто совсем не успевала интересоваться домашним хозяйством, свалив всю эту работу на нас, своих подросших дочерей. Когда я заявила, что хочу непременно учиться в ЛГУ, в родном Питере, разразился страшный скандал, чудовищный гнев обрушился на меня, но я была непреклонна. У меня были в запасе аргументы: вступительные экзамены — конкурсные — там начинались только 1-ого августа и их на Биофаке было всего три. А тут, в Академгородке их было — шесть и начинались они 1-ого июля. А вдруг я не сдам? Важный аргумент. По крайней мере, там у меня будет время на подготовку. Это во-первых, а во-вторых, моя ностальгия по родному городу была в те “сибирские” годы просто невыносимая. Там образовалась чудесная компания, в Питере у меня было полно замечательных друзей. За два года Сибирской “ссылки” я сумела слетать в Питер раза три или четыре. Деньги сама заработала, устроилась в частном порядке, нелегально, в детский сад, где обучала детей английскому языку. Другой источник дохода в те времена: можно было сдавать стеклотару вполне прибыльно. Билеты на самолёт были для школьников и студентов тогда за полцены. Но это всё не самое главное. . .

Я рвалась покинуть Сибирь и вернуться в родной Ленинград, удрать от маминого надзора и начать самостоятельную жизнь “с ним”. Об этом я с мамой вообще не говорила, но она прекрасно могла догадаться сама? Герой моего романа — единственный в Сибири курд — тоже решил ехать в Питер и поступать там в аспирантуру. Он уехал раньше меня. (Между прочим, проф. Оппенхайм, возглавлявшая международное исследование арабо-еврейских генетических сходств и различий в Иерусалиме, утверждает, что и арабы Израиля, и евреи происходят от *курдов из Арама в Вавилоне* — места рождения праотца Авраама.)

Мама была в ужасе от моей непоколебимой решимости, сильно бушевала, называла меня предательницей. Её, конечно, можно понять. Бедная мама! Но мне, влюбленной, было совсем уже всё равно, начиналась моя настоящая, взрослая жизнь, и всё остальное уже не имело никакого значения!

Сдав экзамены на “Аттестат зрелости”, я сама себя ошибочно считала совершенно зрелой. . . Однако, по крайней мере, ещё два года вела далеко не разумную жизнь. Можно, по традиции, свалить вину на гормоны, поэтому предлагаю переименовать “Аттестат зре-

лости” в “Аттестат половозрелости” . . .

Конкурс на Биофаке был относительно невелик — 5 человек на место. Всего 3 экзамена: физика, химия и сочинение. А на Филфаке, куда душа звала поступать на французское отделение, конкурс был огромный — 20 человек на место. Поступить — нереально.

Две большие комнаты в коммунальной квартире, где мы раньше жили с мамой — до отъезда в Сибирь, в Академгородок, оставались “забронированными” за мамой — до её возвращения. Это всё же было гуманно, что немного удивляет, когда глядишь издали на тот “тоталитарный” режим. Через пять лет после отъезда в Сибирь, в 1968 году мама смогла вновь вернуться в наш дом на проспекте Маклина (Английский проспект дом 1/124). И обе дочери её тоже там поселились.

Прилетев в Питер в 1965 году, я года три жила у маминой школьной подруги Лидии Михайловны Лонд, у меня там была своя отдельная комната. Муж Л. М. после их развода переехал со своей новой женой в мамину квартиру. У этой маминой подруги Л. М. была дочь Леночка, рыженькая хохотушка, мы с ней в детстве очень дружили. Она гостила у нас на даче в Комарово, но её вдруг забрали и увезли к кузену на дачу под Лугой. Там она внезапно умерла от полиомиелита, причём, в мой день рождения, 23 июля, мне тогда исполнилось 9 лет. Болела она всего три дня, и вот — паралич дыхательных путей. С тех пор я дала зарок: не праздновать в этот день свой день рождения. . . Эта дата оказалась днём смерти лучшей подружки!

Лидия Михайловна со мной обращалась хорошо, но довольно сдержанно и настороженно, материнских чувств ко мне совсем не проявляла. . . Когда я всерьёз заболела, мамой мне стала другая прекрасная мама — Руфь Александровна Серман (писательница Руфь Зернова). Она меня спасла, благодаря её усилиям мне удалось попасть в хорошую больницу, где работала заведующей очень компетентная врачиха, и там меня быстро подлечили.

Приехав в Ленинград в начале июля, я сразу же записалась в Университет и узнала даты экзаменов. Впереди у меня был ещё месяц на подготовку, и мне казалось, что это очень большой срок. В это самое время я разыскала своего беглеца, который обрадовался моему приезду и пригласил меня провести с ним время в Карелии, где он устроился на работу в какой-то пионерский лагерь. Дети оттуда уже уехали, в июле лагерь почему-то пустовал, и мы с ним блаженствовали там совершенно одни. Небольшие лесные озёра в карельских сопках — неописуемо красивы, славятся своей чистотой и прозрачностью, однако, вода в них очень холодная. Мой краса-

вещ купался ежедневно, плавал он прекрасно, а я, сидя на берегу, любовалась его стройным и смуглым телом, восхищаясь совершенством его пропорций и линий, как художник или ваятель любит на свою модель. . . Было довольно жарко, и так и тянуло окунуться. Я осмелела и тоже решила искупаться. Ох, напрасно! Мы жили совсем одни в целом лагере, в полном уединении от людей, и это были исключительно счастливые дни. За это короткое счастье мне пришлось дорого заплатить, как всегда случалось в моей жизни. . . Но не буду забегать вперёд, расскажу всё по порядку.

Сначала была разлука. Внезапно он принял решение — уехать в Москву и вскоре уехал, почему-то решив поступать там в аспирантуру. Мои уговоры остаться и поступать в Ленинграде не подействовали. А ведь ранее мне было сказано, что он приехал в Питер именно для этого. Я была в отчаянии. В Москве он успел сдать лишь первый экзамен и сообщил мне, что не будет пытаться сдавать второй, а сразу же улетит обратно в Сибирь, в Академгородок. Расстояние между нами выросло по крайней мере до четырёх тысяч километров. Моё горе росло пропорционально расстоянию.

Однако уже пора было начать всерьёз готовиться к экзаменам. В то же время у меня было много других забот. Знаете ли вы, что такое “прописка”? Прописаться вновь в родном городе мне долго не удавалось, почему-то это оказалось вовсе не просто. Бюрократическая волокита. . .

Первый экзамен — химия — прошёл как будто без приключений. Я сдавала его одной из последних, около восьми вечера, экзаменатор был преклонного возраста (по моим тогдашним впечатлениям) и страшно утомлён. Под конец, заполняя какую-то ведомость, он тише голосом задал мне вопрос, который я толком не расслышала: “Вы Ленинградскую школу окончили?” На всякий случай я быстро ответила “Да”, и только через полминуты до меня дошёл смысл его вопроса и то, что я невольно соврала. Но он уже вручил мне документы и я, сказав: “Спасибо, до свиданья”, вышла в коридор и открыла папочку, чтобы с удивлением увидеть “пятёрку” — высший балл. Сама я считала, что отвечала на твёрдую “четвёрку”.

До следующего экзамена по физике оставалось максимум четыре дня. К тому времени я уже чувствовала себя очень плохо, у меня началась нескончаемая менструация — я теряла кровь уже дней десять, причём, в каких-то немыслимых количествах. . . И в этих условиях нужно было сдавать конкурсные экзамены. Попасть к врачу без прописки было совершенно невозможно. Физику я почти не знала, и сдавать этот экзамен — отчаянно боялась. У меня был

чудовищный упадок сил и никакой веры в себя, ощущение полного одиночества и беспомощности. . . Я позвонила моей подруге Дарье — она была дочкой ректора Университета А. Д. Александрова, чтобы рассказать о своём состоянии, и говорю:

“К экзамену по физике я подготовиться не успеваю, чувствую я себя просто ужасно, и на экзамен я не пойду — всё равно провал обеспечен!”

Премилая Даша, со всей свойственной ей решительностью, стала меня урезонивать и уговаривать не падать духом, не сдаваться. Она мне обещала перенести мой экзамен на день позже — там было два “потока”, чтобы дать мне время на подготовку. Я, охая и тоскуя, почему-то послушно согласилась, хотя всё равно не верила в успех, не успевая даже прочесть все три тома учебников по физике. Однако, первые два тома — механику, оптику и акустику я, вроде бы, выучила довольно сносно, и даже как будто всё поняла, а третий том — самый толстый, про электричество — даже пролистать не успела. Вообще-то, в то время я считала, что всё равно ничегошеньки про электроны не пойму, как бы я ни старалась.

В день экзамена я была уже чрезвычайно слаба, но всё же выбралась из дома, собрав все последние силы. Пришла я одной из последних, вытянула билет, замирая сердцем. . . В полной и ясной решимости тотчас уйти, если в билете окажется вопрос по электричеству. На моё счастье его там не оказалось. Была только математическая задачка с единственным законом из оптики, “угол падения равен углу отражения”, и главный вопрос — о природе звука. . . Всё это я накануне читала в учебнике, прекрасно знала. Настроение резко улучшилось! Голова заработала на полную катушку, как всегда со мной случалось на экзаменах. В математике я всегда была сильна. Задачку я решила минут за пять, в три приема. Пока я её решала, молодой экзаменатор проявлял любопытство и тихонько подсказывал оптический закон, который я и без него прекрасно использовала. . . Когда я отвечала, передо мной сидели трое молодых физиков-экзаменаторов, а студентов в аудитории больше не было никого, я была последней. Оказалось, что они решали мою задачку в пять приемов, моё кратчайшее решение вызвало у них явное удивление и восхищение. Дальше — больше. . . Про звук и его природу я им выдала невероятно блестящий экспромт, я так вдохновенно отвечала, что у них просто челюсти отвисли, один из них не удержался от комментария: “Ну, такого мы еще ни разу не слышали!” Это меня привело в некое замешательство, я подумала, что несую, наверное, несусветную чушь. Мне как будто какой-то ангел-хранитель в голо-

ве нашёптывал, и уже через полчаса после экзамена я бы не смогла повторить, что я там им говорила.

Все три экзаменатора не хотели верить, что я абитуриентка, они заподозрили подлог, считая, что я, вероятно, студентка третьего курса и сдаю за кого-то другого. Я об этом и не догадывалась, молясь лишь о том, чтобы мне не задали дополнительных вопросов по электричеству. И тут они мне задали тот же пресловутый вопрос: “А какую школу вы кончали и где?”

Я вспомнила, что этот вопрос почему-то возникал и на экзамене по химии, и решила не признаваться, что я приехала из провинции. Я храбро заявила, что окончила физмат-школу номер 239 в Ленинграде. Тут произошло явное и сильное замешательство. . . Я всё ещё ничего не понимала. Следующий вопрос: “А в каком вы классе учились?” — надо было быстро отвечать номер, “параллельных” классов у нас было чуть ли не десять, и я чуть было не ляпнула: “В девятом седьмом”, поскольку именно в девятом я там только и училась, а последние два года в Сибири, в Новосибирском Академгородке, но я вовремя спохватилась и ответила бодрым голосом: “В одиннадцатом седьмом”. Тут уж один из экзаменаторов даже подскочил в полном возбуждении, вперился в меня острым взглядом и спрашивает не без ехидства: “А меня вы не знаете? А кем я был в этом самом классе?” Я, продолжая по инерции ту же игру, говорю: “Ну как же, вы там у нас физику преподавали. . .”, а сама уже понимаю, что пропала, да и другие экзаменаторы уже в нетерпении, говорят мне, а ведь он как раз и был классным руководителем “вашего” класса в 239 школе. . . Последовало тягостное молчание. . . Тут я их сильно удивила. Собравшись с духом, я решила во всём признаться. . . “Ну ладно, хватит врать!” — тихо, но четко проговорила я чуть ли не по слогам.

Опять все трое так и подскочили от удивления.

Пришлось рассказывать по порядку всю историю моей жизни последних трёх лет. Что я действительно один год училась в этой прекрасной школе возле Исаакиевского собора. А затем меня мать увезла в Сибирский научный центр под Новосибирском. Ну и так далее. . . Они слушали вначале с некоторым недоверием, но к концу истории я их умудрилась убедить в своей искренности, и они мне поверили. “Ну что, снизим ей отметку на балл из-за вранья?” Тут я чуть ли не завизжала: “Уж пожалуйста, не снижайте! Я больше врать не буду!” Они засмеялись, сказано было: “Мы пошутили”, и поставили мне пять! (Вероятно, отвечала я на все шесть баллов, но такой отметки не было). Это было какое-то чудо, и без этой пятёрки

мне в Университет ни за что бы не попасть, проходной балл оказался именно “10” для двух первых экзаменов.

После этого нужно было как-то дожить до третьего экзамена и написать сочинение, но мне не нужно было к нему готовиться. Моё кровотечение всё продолжалось, и я обратилась за помощью и советом к матери моей подруги Нины Серман. Руфь Александровна сказала, что это очень серьёзно, то, что со мной творится, и немедленно бросилась хлопотать. Она знала одну замечательную врачиху и устроила меня в ту больницу, где она заведовала гинекологическим отделением, “по благу”, как тогда говорили, без неё мне в больницу попасть было абсолютно невозможно.

До этого я успешно справилась с сочинением, выбрав тему: “Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у неё — наша задача!” — высказывание, приписываемое Мичурину. За два часа вдохновенного творчества, припомнив многих богов Олимпа, и предрекая приближение человека к творчеству на поприще создания новых видов и манипуляции с живыми организмами на благо человечеству, я умудрилась в своём сочинении предсказать генную инженерию, в науке пока не существующую — по крайней мере за двадцать лет до её начала! Сдавала я полностью обескровленная, теряя кровь уже 15 дней! Получила высший балл, жаль, что не могу раздобыть того сочинения. . .

Сашенька¹

Старый Петергоф. Конец июня 1971 года. Студенты Биофака ЛГУ устроили праздник, то ли по случаю окончания занятий на очередном курсе, то ли в честь получения Университетского диплома — не помню точно, но это и не имеет значения. В отдельном корпусе лаборатории Популяционной Генетики, руководимой Л. З. Кайдановым, собралось множество студентов и преподавателей. И даже приехали две солидные административные дамы с кафедры генетики. Эти надменные “старые девы” остались незамужними по вине войны, истребившей почти всех их ровесников-мужчин.

Столы накрыты, вино и закуски, все галдят и смеются, шум стоит невероятный, дым коромыслом. . . А один преподаватель привёз с собой сынишку, и вот, этот мальчик — совсем ещё маленький — сидит в уголке и плачет. А тут оказалась одна девушка, которая просто не выносит, когда ребёнок плачет. Она даже двух минут не может этого вынести.

Так вот, подходит она тут же к этому мальчику и спрашивает:

— Ты почему плачешь? У тебя что-нибудь болит или что-то случилось? И как тебя зовут?

Мальчик перестал хныкать и тихо сказал:

— Сашенька. — А красавица, радостно:

— А меня Лиза, — и при этом улыбается и касается его руки. (Кто-то сразу уточнил, что это Сашенька Смирнов).

— Тебе, наверное, просто скучно, или ты устал? — Мальчик признался, что ему и вправду очень одиноко и скучно. Она согнала его с дефицитного стула, села сама и посадила его к себе на колени. И на ушко его спрашивает:

— А сколько тебе лет? Сашенька с гордостью ответил:

— Четыре с половиной давно было!

Услышав этот звонкий и высокий детский голос, чопорные старые девы, сидевшие поблизости, одновременно повернули головы в его сторону и . . . оцепенели от удивления. Как говорится — у них просто челюсть отвисла. Оказывается, им придётся пересмотреть

¹Впервые рассказ опубликован в Альманахе “Глагол” №1, Париж, 2009. — (Прим. ред.)

своё мнение (конечно, крайне отрицательное) об этой легкомысленной красотке Лизе, вот оно что-о... ребенок-то у неё на коленях оказался и уже улыбается, а ведь он только что плакал.

Лиза в то время работала именно в этой лаборатории, продолжая учиться на вечернем отделении. В это лето она перешла уже на 6-ой курс, тут она делала свою дипломную работу. Чтобы отвлечь Сашу от грустных мыслей, она стала рассказывать ему на ушко про “своих” цыплят на экспериментальной ферме, которых она должна кормить рано-рано каждое утро, но и вечером — тоже, и предложила ему прогуляться до птичьей фермы, посмотреть на цыплят и подышать свежим воздухом. Благо — светло, стояли белые июньские ночи. У Сашеньки слёзы высохли моментально, он сразу страшно оживился:

— Пойдём сейчас же! Пожалуйста! — умоляющим шёпотом.

Ну, что же делать, раз сама предложила, значит так тому и быть. И Лиза с Сашенькой, покинув весёлый бал, вышли вдвоём в прекрасный сад, вернее, в Петергофский парк. Мистическое освещение белых ночей, когда в 11 часов вечернее солнце медлительно скользит к горизонту, явно не желая за него “заходить”, полное затишье — ветры уже давно уснули, лишь некоторые пташки лениво обмениваются репликами, готовясь ко сну; огромные темнеющие деревья на фоне прозрачного нежно-розового неба, где на невысказанной высоте со свистом носятся стайки неугомонных ласточек и стрижей.

Сашенька всю дорогу без остановки задавал вопросы: “Сколько на «твоей» ферме цыплят? Чем ты их кормишь? Можно ли и ему прийти завтра помогать раздавать им корм?” Конечно можно. Ради Бога. Глаза его уже просто сияли от счастья.

Пришли. Действительно, за сеткой оказалось великое множество симпатичных малюсеньких курочек и петушков, беленьких, уже оперившихся, но ещё не отрастивших гребешков. Их там было тысячи две или три. Саша ликовал. Он как будто не верил до этого, что Лиза рассказывала правду, а не сказки. Теперь он твёрдо решил, что мечта может стать реальностью, если встретить такую волшебную фею, как эта тоненькая длинноволосая Лиза. Ей всё же удалось уговорить его вернуться обратно на бал, к его папе, но они порешили на том, что завтра утром он придёт к 8 утра помогать ей кормить цыплят.

Сашенька пришёл на свидание, очень серьезный и озабоченный. Крепыш сам насыпал полное ведро зерна. Тяжеленное ведро доходило ему до пояса, но он бесстрашно потащил его в загон. Лиза пошла в другую вольеру. Когда тут же на ребенка налетел шквал

галдящих голодных птенцов, мальчик в первую минуту растерялся и закричал: “На помощь! На помощь!” Но Лиза не успела и шагу сделать, как он уже радостно извещал: “Не надо, я уже сам справился!” И это было сущей правдой, ребёнку не было ещё пяти лет, а его уже можно было нанимать на работу. Он всё делал “с умом”, он уже научился думать.

После трудов праведных они мыли руки на дворе. Там был кран и лежал шланг, чтобы поить птицу. На голове у Лизы была простая ситцевая косынка, а полотенца там не было. Она сняла платочек, чтобы им вытереть руки. Только тут Сашенька заметил эту беленькую косынку и немедленно, хитро сощутив глаз, начал Лизу поддразнивать:

— Ста-а-рушечка! Старушечка!

Лиза сделала вид, что страшно “возмущена” и даже обижена:

— Как не стыдно друзей дразнить!

— Но... Ты мне — не друг!

Вот это да! Ничего себе.

— А кто же я тебе?

Пауза, глаза опущены “долу”. И тихим голосом, на одной ноте и на одном глубоком выдохе:

— Просто... я тебя ЛЮБЛЮ.

Он уже разобрался, чем дружба отличается от любви, подумала Лиза — это, должно быть, настоящий вундеркинд — в смысле чувственного восприятия мира... К тому же — романтик...

Вторую половину дня Лиза проводила в лаборатории, ставя опыты на дрозofile для своей дипломной работы. Когда туда заявился Сашенька, явно её разыскивая, Лиза сидела за биноклярной лупой, похожей на микроскоп. Она радостно встретила ребёнка и усадила его за бинокляр, посмотреть на её красивых золотистых мушек, усыпленных наркотом. Их огромные, карминового цвета глаза состоят из 600 фасеток, и каждая показывает своё изображение, а это значит, что всё, увиденное мухой, видят одновременно 600 глазков с обеих сторон её головы. Сашу всё это сильно заинтересовало.

Тут в лабораторию вошёл высоченный студент и игриво спросил:

— Лиза! Это твой сын?

Ответить она не успела. Реакция Сашеньки была мгновенной и неожиданной.

Как бы отвечая на шутку, с коротким веселым смешком, Саша произнес:

“Ну что вы!” — и уже с гордой серьезностью в тоне: “Я — Лизин ДРУГ!”

Лизу его слова привели в полнейшее восхищение и развеселили, она изо всех сил старалась удержаться от смеха. Обе эти фразы были сказаны в один и тот же день.

Так начался их роман. И длился этот роман, может быть, целый долгий год.

Их ежедневные свидания продолжались ещё неделю или чуть больше, Сашенька даже побывал в гостях у Лизы в Питере, где его радушно встретила Лизина мама. Это была очень замечательная и важная учёная дама, он ей явно понравился, и она предложила ему почитать какие-то детские книжки, пока Лиза приготовит поесть и накроет на стол. Сашенька вежливо согласился. Но, послушав её истории минут десять, он так же вежливо сказал Лизиной маме:

— Раиса Львовна, простите меня, пожалуйста, но я должен идти к Лизе, ведь она меня ждёт. . .

И тут он проявил поразительный такт, не желая вызывать ревности своей феи. Мама была поражена и озадачена. Вкусно поели, поговорили о том о сём и отправились обратно в Петергоф на электричке. По дороге Сашенька рассказывал о том, о чём они успели поговорить с Лизиной мамой. Оказывается, они говорили о Боге. О Сашиной вере в Бога. Лиза спросила:

— А откуда ты знаешь про Бога? Тебе родители рассказывали? Они верующие?

— Нет, — ответил Сашенька. — Они не верят в Бога. А я верю. И в Ангелов я тоже верю. Мне один мальчик рассказывал. И я знаю, что у нас есть Ангелы-хранители, они всегда нам помогают, они летают ночью. — Он говорил с таким волнением, с такой твёрдой убеждённостью.

А в один прекрасный солнечный день, когда воздух звенел от брачных песен цикад и кузнечиков, а в открытые окна лаборатории, где работала Лиза, врвался изумительный аромат цветущих кустов сирени, роз и жасмина, пришёл Сашенька. Он спокойно наблюдал за Лизиной работой полчаса, а потом вдруг заявил:

— Лиза, ты знаешь, я собираюсь на тебе жениться. Ты выйдешь за меня замуж?

Лиза чуть не упала со своего высокого табурета. Но, опять едва сдерживая смех, она спросила:

— И когда же ты собираешься на мне жениться?

Сашенька незамедлительно ответил:

— Через три лета после Университета!

Тут уж, услышав эту рифмованную фразу, Лиза подумала, что он так удачно пошутил и бестактно рассмеялась. Саша как будто

ничуть не обиделся или виду не показал. Она же стала вслух считать, сколько же ей будет лет — к тому времени, когда ему стукнет 26 лет. И со смехом вынесла вердикт:

— Ну что ж. Во всяком случае, мне . . . тогда . . . будет: помирать — рано, а жениться — поздно!

Эта формулировка чрезвычайно Саше понравилась, он в свою очередь весело рассмеялся, повторяя с удовольствием эту дурацкую фразу снова и снова, как бы смягчая неловкость своего преждевременного предложения.

Потом наступила долгая разлука. Лиза уехала на каникулы, Сашенька её не видел несколько месяцев. Осенью, вместе с дождями, начались занятия, Лиза слушала лекции Сашиного папы и однажды не удержалась, подошла к нему после лекции и спросила, как там Сашенька, её дружок поживает? И тут она с удивлением узнала, что Саша не только её не забыл, он постоянно о ней вспоминает, рассказывает, спрашивает своих родителей, нельзя ли её повидать и, более того, он видит её почти каждую ночь во сне. Он страстно мечтает её увидеть. Вот это да! А она и не представляла себе, что такое бывает.

Перед самым Новым Годом мечта его сбылась. В Петергофском Институте, где работала Лиза. Новогодние подарки местным детишкам сотрудников раздавали разряженный Дед Мороз и Снегурочка.

Лизу выбрали на роль Снегурочки. Пригодилась её белоснежная меховая шубка и длинная русая коса. Плюс красивые серо-голубые глаза с длинными ресницами и тоненькая фигурка. И веселый разительный смех. Ну чем не Снегурочка? И детей она любит. . .

Поехали с бородатым Дедом Морозом на машине в лютый мороз. Некоторые дети при виде Деда Мороза плакали от страха, и Лизе приходилось их утешать. Наконец, уже поздно, приехали к родителям Сашеньки Смирнова. Лиза ехала к нему взволнованная. Как на свидание. . .

Открыла дверь мама. Сашу позвали, и он прибежал. Сашенька сразу её узнал, он так побледнел, что казалось, он сейчас упадет, он даже ухватился за косяк двери. Или это ей так показалось? На какое-то мгновение он просто онемел. . . Она обратилась к нему с положенной по роли фразой, не желая себя выдавать. И смотрела на него, не отрываясь, во все глаза. И улыбалась очаровательно. Слушая басистый веселый голос Деда Мороза и напряженно разглядывая разряженных посетителей, Саша быстро справился со своими эмоциями и вдруг почти весело закричал с озорными интонациями:

— Та-ак! Снегурочка-то — Лиза! А кто же Дед Мороз? После

этого он схватил её за руку и бегом потащил в свою комнату. Сильный и решительный. Не спрашивая разрешения ни у мамы, ни у Деда Мороза. Взрослые слегка опешили, но не посмели возражать. Пришлось повиноваться, вышло отступление от протокола. . .

Там они не могли наговориться, он рассказывал ей про свою жизнь, но больше всего — смотрел, смотрел во все глаза и не мог наглядеться. . . Лицо его выражало странную смесь счастья и затаённого страдания.

Но вскоре Снегурочку позвал Дед Мороз, и ей с грустью пришлось покинуть прекрасного, любящего Сашу. Навсегда.

Это была их последняя встреча. С тех пор они уже не встретятся никогда. А может быть ТАМ?

Подобно странному капризу
У нас судьбой играет рок —
Столкнула Сашеньку и Лизу
Сама судьба в неверный срок.

И хитро смотрит — что же будет?
Их закрутив в один клубок —
Какие страсти в них разбудит
скрещенье странное дорог?

Не стал бы я шутить жестоко —
Но это — в веденье Богов —
Детей испытывать до срока,
Даруя взрослую любовь,

Даруя взрослым пониманье,
Что всё надолго и всерьез —
Его прозренье и признание,
и боль, и разочарованье,
И радость, и потоки слёз. . .

13–14 ноября 2006 Ю. Г. Артемьев

P.S. Они всё-таки встретились. Со времени последнего их свидания прошло всего лишь . . . тридцать шесть лет! Сашенька оказался бородатым “мужиком”, за сорок, но в лице его сохранилось едва уловимое сходство с тем нежным и сильным пятилетним романтиком, каким он был в начале их “романа”. Он НИЧЕГО НЕ ЗАБЫЛ. В его жизни не было больше ни разу такой настоящей большой любви.

3–4 ноября 2006

Сибирь

В ночь на 9 ноября 1973 года нашу дачу в Комарово подожгли. . . В дом проникли, разбив окно в ванной. Использовали бензин, привезённый в канистрах, они валялись в саду после пожара. Кто же был заинтересован в пожаре? Мы, конечно, долго голову ломали. . . Как ни странно, но кроме всесильного КГБ и чиновников из мафиозной конторы, греющих руки на продаже дач своим клиентам, поджечь дом мог также и старший сын моей мамы, когда она задумала продать свою дачу и эмигрировать в Америку. Этому событию посвящена отдельная глава моих воспоминаний — “Дача Берга”.

В январе 1974 года я приехала на пару дней в Комарово в гости к соседке-подружке Ольге Баранниковой, её дача была рядом с нашим пожарищем. Мы с Олей пошли гулять по морозцу, и меня, как магнитом, потянуло опять взглянуть на погоревший дом моего детства. Помню яркий солнечный день, сугробы, опушённые снегом ели вдоль дороги, оранжевые стволы сосен, чёрно-белых берёз и всюду — слепящий блеск снега. . . Глаза слезились, но трепет душевный унять удалось.

И вдруг замужняя Ольга, на год младше меня, говорит, что пора и мне выходить замуж. Мне уже 26 лет, хватит мне жить с мамашей, которая вечно корит, что, мол, в девках засиделась, и никто, мол, замуж не берёт. . .

Я говорю: “Не за кого выходить, а то бы — хоть завтра, я не против!”

А она мне отвечает, что у неё есть на примете для меня жених. Она точно знает, что он мне понравится, зовут его Владимир Филандров. Он — чудный парень, журналист, моложе меня на полгода, красивый, умный и весёлый. Я говорю: “Так в чём же дело, познакомь меня с ним.” А дело в том, отвечает Оля, что его сейчас в городе Питере нет, он в Сибири отбывает срок, он там третий год — “на химии”. Мы все тогда хорошо знали, что это значит “на химии”.

Для тех, кто не помнит или не застал тех времён, поясню. Всех заключённых, у которых срок по приговору не превышал не то трёх, не то пяти лет, отправляли не в лагерь, а на стройки “народного хозяйства” “всенародного” значения, по преимуществу связанные с химической промышленностью. Это и называлось: “отправить на химию”, это — поздний вариант ссылки, только свободы — ещё меньше.

Ещё при Хрущёве был введён лозунг “Химизация народного хозяйства”. Ленин и Сталин, под лозунгом “Электрификация всей страны”, использовали даровой труд, строили каналы и плотины на костях заключённых. А Никита Хрущёв, заклеив предыдущий режим, затеял химизацию промышленности, но ничего нового для эффективного строительства не придумал. Работали по-прежнему заключённые, но им всё же платили какие-то гроши, правда, отнюдь не регулярно. Зарплату могли задерживать на 6 месяцев.

Затем Ольга поведала мне, что мой “жених”, с которым она дружит и переписывается, вскоре получит отпуск и приедет на месяц в Ленинград, к своей больной маме. Он приедет не позднее начала марта, ждать осталось не долго, всего месяца полтора. А отбывать срок в Сибири ему осталось меньше года — в конце декабря 1974 он уже освободится. Он, к тому же, непобедимый оптимист, ни в какой ситуации не унывает.

Меня всё это сильно заинтриговало.

Я спросила Олю: “За что же его посадили?”

— Какая-то дурацкая статья, кажется, “уклонение от воинского учёта” или, может быть, от армии, но — нет, он мне говорил, что у него был “белый билет”, значит, его призывать не должны. Скорее всего, именно — от учёта. По этой статье его могли приговорить к штрафу, сто рублей, но дали три года, потому что он был журналистом. У него дома был устроен обыск и, среди прочего, было найдено досье о милитаризации детства в Советском Союзе. Долго искали, по какой же статье его судить, целых полгода. . . Его ещё пытались обвинить в тунеядстве. . . Потом его же мать давала в суде показания, что повестку в военкомат она получила и ему её передала. . . Из тюрьмы после суда его “этапом” отправили в Сибирь, в Кемеровскую область, в посёлок Мыски, где он уже года два работает монтажником на строительстве ЦОФ-а, это — Центральная обогатительная фабрика в районе угольных шахт.

Пока я ждала встречи с моим потенциальным женихом Володей, моя мама активно готовилась к отъезду в эмиграцию. Она имела твёрдое намерение уехать в США, взяв с собой обеих своих дочерей. Однако, я в то время была совсем не готова распрощаться с родиной, а уж тем более — эмигрировать в Америку. Эта перспектива меня ничуть не вдохновляла.

Впрочем, а были ли у меня тогда вообще какие-либо перспективы? Мы — сёстры Маша и я — жили с мамой в Ленинграде, в коммунальной квартире. У нас было всего две смежные комнаты, что по тем временам считалось роскошью. На отдельную квартиру не было

никаких надежд. К тому времени я уже лишилась работы в институте Психиатрии имени Бехтерева, где полтора года благополучно работала в должности воспитателя в детском отделении, где лечили эпилептиков. Попутно собирала материалы по генетике эпилепсии. Отношения с шефом Харитоновым¹ у меня были прекрасные, но однажды он вызвал меня в свой кабинет и очень ласково предупредил, чтобы я заранее уволилась, не дожидаясь времени отъезда в эмиграцию моей мамы, которая, естественно, захочет взять меня с собой. . . . Чтобы не навлекать неприятностей на его отделение больницы, откуда уже и так слишком многие эмигрировали в Израиль. Был такой прелестный разговор. Вот я и уволилась “по собственному желанию” в январе 1974.

Итак, я уже больше нигде официально не работала. Пособий по безработице тогда не было и в помине. Но заработки у меня были. Я пошла в Академию Художеств на набережной Невы и предложила им себя в качестве модели. Меня тут же взяли. Платили мне рубль в час. Немного позировала “ню” для юных студентов Академии, но чаще — для одной аспирантки, скульптора Матюшиной. Прямо из отдела кадров она сразу же увела меня в свою мастерскую. Там, стоя в балетной позе, я проводила мучительные часы. Она лепила в реалистической манере балерину натуральных размеров для своей дипломной работы. Получилась очень неплохая скульптура.

Но вот, наконец, позвонила моя подруга Оля и пригласила меня в гости, сказав, что я познакомлюсь у неё с Володей — с тем самым “женихом”. Представляете мое любопытство и волнение, когда я готовилась к этому выходу “в гости”.

Володя — стройный голубоглазый блондин — мне понравился. Он был крайне застенчив, говорил мало, но умно и даже интересно, и всё время улыбался. Его история была вовсе не тривиальна. Очевидно, я тоже произвела на него благоприятное впечатление. Мы стали встречаться.

Когда он пришёл в первый раз ко мне в гости, я заканчивала свой коллаж. Показала ему также свои рисунки. Он пришёл в восторг, особенно от фантастического коллажа и попросил меня подарить его ему. Я, конечно, весело отказалась. Этот коллаж мне самой очень нравился и был моим первым серьёзным произведением. Когда он ушёл, моя семилетняя племянница Маринка заявила, что Володя — детский человек!

После первого поцелуя — именно первого — мне пришлось в голо-

¹См. 1) в Приложении, стр. 114.

ву его сразу же предупредить, что со мной опасно иметь любовные приключения. “Я очень мечтаю иметь детей, в случае чего, тебе «не светит» надежда на избавление от «плода»... Если ты не боишься стать отцом, со всеми вытекающими последствиями, тогда пожалуйста, а если эта перспектива тебя пугает...” Тут он меня перебил и убеждённо заявил: “Нет, не пугает!”. Незабываемая, добрая улыбка сделала его лицо ещё красивее. “Но ты мне обещаешь, что больше не будешь позировать в голом виде в Академии?” Пришлось дать обещание.

Это было в начале марта. Через три недели мы решили, что я поеду с ним в Сибирь. Казалось, Володя просто не верил своему счастью. Он меня не уговаривал ехать с ним, но и не отговаривал. Вполне уважал мою свободу выбора.

1 апреля 1974 года мы с Володиёй улетели в Сибирь, в Новокузнецк. Мама даже поехала провожать меня в Аэропорт. Лицо её выражало неописуемую грусть-тоску. Ещё бы, ведь она предполагала, что прощается со мной навсегда. Она совершенно меня не понимала, скорбно сознавая, что я совершаю роковую ошибку. Вместо того, чтобы ехать с ней на запад, в Америку, старшая дочь отправлялась в Сибирь, на восток, да ещё за тридевять земель... Её обиду и отчаяние я смогла вполне осмыслить и понять только совсем недавно.

Мать переживала очередное предательство старшей дочери. Мой скоропалительный отъезд в Сибирь в её глазах иначе как предательством не назовёшь...¹

А на Володю мама старалась не смотреть. Это он во всём виноват, этот юный легкомысленный блондин — странный, однако, выбор — умыкает её дочь в Сибирь, как Кащей Бессмертный похитил Людмилу.

Мы же с Володиёй были счастливы и безмятежны, пока летели в Новокузнецк. Во-первых, мы там сможем не расставаться, это была восхитительная перспектива. А во-вторых, я испытывала нечто вроде эйфории, воображая моё бегство — из рабства — от тиранической матери. Всё же была и горечь: расставаться с мамой мне было вовсе не легко. Разлука предстояла долгая. Конечно, я её сильно жалела, но ведь она сама хотела, чтобы я поскорее вышла замуж и больше не мешала ей вдохновенно творить. Я пыталась её утешать, говорила ей, что пробуду там всего восемь месяцев, и как только Володя освободится, мы вернёмся, и тогда мы снова сможем быть вместе...

¹См. 2) в Приложении, стр. 115.

Забегая вперед, скажу, что судьба, не без помощи КГБ, решила иначе. В декабре мама улетела на запад — в эмиграцию, ровно за неделю до нашего возвращения домой из сибирской ссылки. А ещё через два месяца, в феврале 1975 года родился мой сын Максим. Внука своего моя мама не дождалась, улетела навсегда совсем одна. Мы оказались надолго отрезаны железным занавесом, и увиделись с ней только через два с половиной года.

В Сибирь я летела без малейшего неудовольствия. Меня влекло богатство сибирской природы и новизна путешествия. В другом месте Сибири я уже побывала, два года жила в Академгородке, возле Новосибирска, где моя мама 5 лет заведовала лабораторией генетики. Там я закончила школу-одинадцатилетку в 1965 году.

В Новокузнецке царил холод, туман и смрад. Весной ещё даже не пахло. Запах там был чудовищный — воздух был просто отравлен на редкость вонючими отходами химической промышленности. Знаменитый лозунг — аршинными буквами через всю вокзальную площадь — гласил: “Здесь будет город-сад”! Ничего общего с зелёным садом этот мрачный и грязный индустриальный город не имел. Мы сразу же сели в автобус и, проехав километров тридцать мимо бывших и действующих лагерей, огороженных колючей проволокой, прибыли в сибирскую глухомань — в те самые Мыски¹, где Володя “отбывал наказание” в Кемеровской области.

Мыски раскинулись на несколько километров на пологом берегу живописной реки Томь. Посёлки эти, образованные на месте бывших лагерей — скорее, “поселения” более или менее городского типа — были окружены полями и частными огородами. Мы приехали в посёлок Притомский, где строилась ЦОФ.

Вначале оказалось, что жить вместе мы в Мысках не можем. Володя поселил меня на квартире своего симпатичного друга, врачдантиста. Сам он должен был ежедневно ночевать в своей “Комендатуре” — тюремного типа общежитии для ссыльных “химиков”. Каждый вечер, в одиннадцать часов к ним являлся Комендант и всех проверял по списку. Если на месте человека не оказалось, ему грозила отправка в лагерь, на весь “срок”, без учёта времени, прожитого в ссылке, “на химии”. То же самое случалось и с теми, кого угораздило подрасться в пьяном виде, и за любое другое “нарушение режима”.

Володя там, к счастью, вёл себя крайне разумно и осторожно, не пил совсем. По его словам, пили в Мысках все и регулярно, пьяные

¹См. 3) в Приложении, стр. 115.

драки бывали чуть ли не каждый день. Из 120 человек, прибывших вместе с ним в этот посёлок, через два года осталось “на химии” только два или три человека, всех остальных отправили в лагеря.

Однако, Володя ни разу не оставлял меня одну и сразу же после вечерней проверки умудрялся сбежать из своей Комендатуры. С неизменной счастливой улыбкой на раскрасневшемся от мороза лице он каждую ночь являлся ко мне на квартиру своих друзей. Как это ему удавалось? Я конечно беспокоилась, спрашивала. . . Оказалось, всё очень просто. Он спускался через окно по пожарной лестнице с четвертого этажа и благополучно ускользал из-под контроля. Мы радовались, как дети, меня восхищала его смелость, но в то же время я всё больше беспокоилась за него. Он мне объяснил, что если мы поженимся, то его освободят от ежевечернего контроля, и мы сможем жить где угодно, например, снять комнату в ожидании места в общежитии. Нужно будет подать заявку на комнату в общежитии немедленно после регистрации нашего брака.

Мы оба были столь же счастливы, сколь и легкомысленны, в результате, после недолгих переговоров, мы отправились. . . куда именно? Сначала в милицию, за Володиным паспортом, а потом в “ЗАГС” (бюро регистрации актов гражданского состояния). 25 апреля 1974 года мы поженились, вернее, нас поженили. Об этом занятном факте гораздо позже, уже в Париже, Володя высказывал совершенно бредовые идеи, будто бы именно милиция, а точнее, КГБ нас “поженила” ради каких-то им самим известных целей.

Но пока что никаких бредовых мыслей у него не возникало, он был почти всегда спокоен и даже весел и остроумен, много шутил, вопреки всем тяготам местной жизни и, что мне особенно нравилось в нём, проявлял какой-то невероятный оптимизм. . . и, несмотря на усталость, никогда не падал духом.

На нашей свадебной пирушке присутствовала только одна гостья — молодая толстуха, в квартире которой мы за неделю до этого сняли комнату. Она же была свидетелем нашей регистрации, вместе с врачом-дантистом, который почему-то не смог вечером присутствовать на пиру. Угощением были самые обыкновенные, но необыкновенно вкусные щи, которые сварила “невеста”, пили пиво, всё было замечательно, но никаких свадебных нарядов или золотых обручальных колец не было и в помине. Нам обоим вся эта мишура была вовсе не нужна, но соседка, конечно, была неприятно разочарована, не понимая нашего равнодушия к свадебным атрибутам.

Володя работал монтажником на верхотуре строящейся фабрики — ЦОФ-а. Приходя вечером с работы, он просто валился с ног

от усталости, падал на кровать в полном изнеможении. В это самое время за стенкой могла разразиться очередная ссора между соседями — толстухой и её молодым мужем, шофёром грузовика. Истошные крики, грохот падающих стульев, удары, визг и стоны, рыдания избитой пьяной бабы — такие сцены случались регулярно, чаще — в ночные часы или ранним утром в выходные дни, не реже чем раз в неделю. Потом толстуха, избитая за пьянство и гулянку в отсутствие мужа, уходила к матери, и наступала временная тишина. До следующей недели.

Мы жили на втором этаже кирпичного двухэтажного дома, где не было даже водопровода. Нужно было ходить за водой во двор, где на самом видном месте стоял общественный туалет, как полагается, чудовищно вонючий и грязный. В апреле по ночам всё ещё было морозно. Странно, но мы прожили в этом доме почти два месяца.

Мыться в ванной я ездила на квартиру к Володиным друзьям. Однажды, в теплый майский день, я — чисто отмытая и одетая почти по-летнему, вышла с непокрытой головой на улицу после “бани”. На небе чудовищно громоздились мрачные чёрные тучи. Внезапно поднялся страшный ветер, и среди бела дня почти стемнело. Дышать стало трудно. Ничего хорошего это не предвещало, со мной даже не было зонтика. Я опрометью бросилась бежать к автобусной остановке, где уже скопилось под козырьком немало людей. С опасением ожидая дождя и с нетерпением автобуса, они говорили: “Пылевая буря”. В тот момент, когда я добежала, первые капли — огромных размеров — стали валиться с неба! Но то, что падало с неба, была не вода, а холодная и черная густая грязь! Это ветер поднял невероятное количество угольной пыли. . . Когда дождь полил, как из ведра, я, к счастью, уже находилась в автобусе и радовалась своей удаче. Главное, волосы мои остались чистыми. . . Добралась до дома почти сухая.

Всё это время я решительно и упорно искала работу, но безуспешно. Женская безработица в тех краях была всем известным фактом. Зарплату Володе не выплачивали, мы жили буквально на какие-то гроши, питались очень скудно. В начале мая, как только растаял снег, ходили в лес — собирать молодые побеги черемши — чудесной съедобной травки, в Сибири называемой колбá. Этот Лук медвежий — вкусный и ароматный, и народ его очень уважает.

Пока Володе задерживали зарплату, я тщетно ждала писем и денежного перевода от мамы, чуть ли не каждый день прося Володю зайти на почту, куда приходила наша корреспонденция — “до востребования”. Однажды он принёс конверт, посланный мне мамой, но

никакого письма в нём не было. . . Внутри конверта оказалась какая-то театральная афишка и загадочная телеграмма, полученная на её имя, где сообщалось, что вызов ей послан — для эмиграции в Израиль. Что бы это значило? Мы оба были просто в шоке от такого фокуса! Если бы нашу корреспонденцию просматривали всю, что вовсе не исключалось, учитывая политическую подоплёку Володино «дела», и КГБ обнаружило бы эту телеграмму, Володю вполне могли под каким-либо предлогом тут же отправить в лагерь. . . Пронесло. Мне необходимо было прояснить ситуацию. Объяснений от мамы мне так и не удалось получить, она потом утверждала, что вышла ошибка. Путаница с конвертами. . . И всё.

Строительство ЦОФ-а продолжалось без перерыва уже лет десять, и конца этой стройки не предвиделось. Володя рассказывал мне невероятные истории из жизни строителей. Одна бригада строила стенку, а назавтра бригадир другой бригады возмущался, что стенка не там построена, и приказывал своим людям её разобрать. Техника безопасности там не соблюдалась вообще. Люди нередко получали травмы, были даже смертельные случаи. Володя однажды и сам получил лёгкое сотрясение мозга, когда его по голове ударило громадным крюком от подъёмного крана. Упал, потеряв сознание. Его отвезли в больницу, где он должен был полежать, по крайней мере, два дня, но он по легкомыслию оттуда удрал, как только пришёл в себя. Однажды зимой кого-то сбросило лебедкой с седьмого этажа недостроенного здания. Вероятно, по пьянке. . . Этот горемыка полетел в пустоту внутреннего пространства, но по дороге вскоре зацепился ватником за какой-то крюк или что-то в этом роде, и повис. . . В результате, чудом не погиб, не разбился. Володя рассказывал так, как будто он при этом присутствовал. Мне долго казалось, что вся эта история случилась именно с Володиёй. Наверное, мне приснился этот кошмар. Но потом оказалось, что ничего подобного он и не помнил, значит, это не с ним случилось. . .

Общезитие, куда мы встали на очередь, сообщило нам, что раньше августа комнату нам предоставить не смогут. В такой ситуации мне пришлось в голову пойти к директору Володиной фабрики, поговорить с ним, чтобы попытаться освободить его от изнурительной работы монтажником. . . Он же у меня — журналист и писатель, надо силушки беречь для творчества.

Главным начальником на ЦОФ-е был симпатичный немец по фамилии Бем, лет сорока пяти. Накануне моего посещения фабрики я попросила Володю договориться о моей встрече с ним. Это оказалось на удивление просто и легко. Назавтра, волнуясь и робея,

я появилась утром в его конторе, полная решимости и надежд. Он меня принял очень любезно, разговаривал со мной с явным уважением. Наверное, вспомнил жён декабристов XIX века. . . Меня — совсем ещё молодую особу — это приятно удивило, и раззадорило. Я стала говорить с ним вполне откровенно, кратко и красочно поведала ему о нашей жизни, сказала, что моему мужу — писателю и журналисту Владимиру Филандрову, трудно работать монтажником, нельзя ли поручить ему какую-либо более интеллектуальную работу. . . Он меня тут же уверил, что при всём его желании нам помочь, на фабрике такой должности, где могли бы пригодиться его способности, просто нет. Единственное, что он мог бы предложить, это работа сторожем, но зарплата сторожа настолько ниже, чем оклад монтажника, что вдвоём нам на неё не прожить. . . Он задумался. Я была на всё согласна.

Потом он спросил меня, смогла ли я, с моим дипломом биолога, найти себе работу. Я сказала, что упорно ищу, но безуспешно. Перечислила все учреждения, где я побывала, например, парники, где выращивали огурцы и помидоры. Он сказал, что это нормально, для женщин тут работы очень мало, шансов у меня нет никаких, разве только попытаться устроиться в школу — учителем биологии. . . Но это только с сентября, сейчас РОНО (Районное отделение народного образования) закрыто, в июне все уже “в отпусках”.

И вдруг он мне говорит: “А что, если перевести Вашего мужа на должность сторожа, но с сохранением средне-бригадной зарплаты?”

Я, в полном изумлении, на грани восторга, с надеждой в голосе, но без тени иронии, говорю:

— А это разве возможно?

— Да, — отвечает директор Бем, — вполне возможно. Вы согласны?

— Я? Конечно согласна, это же замечательно! — Как в сказке. . .

— Ну, хорошо, — говорит директор, — так мы и сделаем. А где же вы живёте? Место в общежитии вам дали?

Отвечаю ему, что мест пока нет и до осени не будет, мы снимаем в частном секторе за 10 рублей в месяц. Без водопровода. А зарплату мужу — задерживают. . . (Он, конечно, сразу стал мне объяснять, что это не по его вине.) Про соседей тоже рассказала.

Тут он сильно оживился и, с загадочным видом начал сразу кому-то звонить. Вызвал по телефону некоего Гришу, как оказалось, его главного инженера, и при мне состоялся такой разговор:

— Гриша, ты сейчас в Мысках не живешь? (Нет)

— Ты — у твоей жены в Новокузнецке? (Ну. . .)

— Значит, твоя квартира сейчас пока свободна? (Ну. . .)

— Тут моим друзьям необходимо до осени где-то пожить. . . Можешь ли ты пустить их пожить в твоей квартире? Можешь? Ну, вот и хорошо, тогда зайди поскорее ко мне в кабинет и принеси, пожалуйста, ключи.

А мне начальник, явно довольный, сообщил, что его главный инженер Гриша сейчас придёт, у него прекрасная трёхкомнатная квартира в Мысках. Не прошло и трёх минут, как появился Гриша. . . с ключами. Познакомились. Инженер — средних лет, вполне презентабельной внешности, серьёзный. У него — никаких вопросов, кроме того, как мы собираемся переезжать, и есть ли у нас машина. Машины у нас, конечно, не было.

— Так вот, — говорит Гриша, — я после работы могу за вами заехать и вас перевезти с вашими вещами. Какой у вас адрес? А вы пока идите домой и собирайтесь. Успеете к пяти часам собраться?

— Конечно, успеем, — радостно говорю я, — спасибо Вам огромное!!!

— Вот и хорошо, — говорит мне директор Бем, теперь вы можете идти домой и собираться. До свидания.

Окрылённая неожиданным успехом, убив сразу двух зайцев, предвкушая реакцию моего молодого мужа, я выскочила из директорского кабинета и помчалась домой. Во дворе фабричной конторы, слева от дорожки росла густая трава. В её густой нежной зелени вдруг что-то блеснуло на солнце. Оказалось, чистая молочная бутылка — литровая! Вот это удача! Стоимость её при сдаче — 20 копеек. Я, как ворюшка, оглянулась на окна конторы, которую только что покинула, не смотрит ли кто в окно, бросилась в траву, схватила бутылку и поспешно сунула её в сумку. Стеклотару я моментально сдала — очереди не было. Получив 20 копеек, я радостно отправилась в магазин. На эти жалкие копейки тогда можно было купить полкило чёрного ржаного хлеба (7 копеек), и почти полкило свежей мелкой рыбёшки, по 30 копеек за килограмм. С таким прекрасным уловом и блестящими новостями я явилась домой. . . Володя не верил своим ушам и своему счастью! Каторга его на стройке закончилась, теперь начинается. . . синекура! Сказал, что сторожить там — решительно нечего. Если вора захотелось бы что-нибудь украсть, то без подъёмного крана им бы это не удалось.

Мы быстро поели, жареная рыбка оказалась превкусной! Потом стали весело собирать наши немногочисленные пожитки. В пять пятнадцать за нами заехал прекрасный инженер Гриша и на своей машине перевёз нас в нашу новую квартиру. Брать деньги за

квартиру он решительно отказался. Мы предлагали. . .

В квартире было просторно, светло, три отдельных комнаты, ванна и вполне приличная оборудованная кухня. Полный европейский комфорт! На кухне оказалось невероятное количество разных пустых бутылок и банок — как чистых, так и грязных. Перемыла всю эту драгоценную стеклотару и быстренько пошла её сдавать. Заработала четыре рубля — немалые деньги по тем временам! Деньги у нас в тот момент вообще кончились, перевод я так и не получила. Мы смогли протянуть до Володиной зарплаты, её обещали выдать через три дня — в понедельник. Деньги за сданную хозяйскую посуду я предложила хозяину вернуть, но он, вопреки моим ожиданиям, категорически отказался. Сказал, что это он мне должен выразить благодарность за то, что я навела в его кухне полнейший порядок. Вот так.

В магазинах в Сибирских Мысках в тот год (1974) можно было “достать”, как тогда выражались, практически все необходимые продукты питания. Разнообразия — не было, но всегда были крупы, рис, макароны, основные овощи: картошка, лук, морковь, свёкла и капуста, огурцы из местных парников, репе — помидоры; мясо — мороженое, конечно, зато свежее; рыба — тоже мороженая; селедка, какая-нибудь колбаса, сало, иногда копчёная грудинка, консервы — дешёвая мясная тушёнка и бычки в томате; сахар, чай, кофе, сушки-баранки, дешёвые печенье и варенье, а также молоко, кефир, масло, сметана, и даже творог иногда! Кур ещё не было, птицефабрика была недостроена, но яйца привозили почти раз в неделю. Самое главное, чуть не забыла, изумительно вкусную кислую капусту. Мы её ели чуть не каждый день. В этой капусте и был для меня, беременной, главный источник витамина С.

Только конфет и фруктов не было вообще, кроме экзотических лимонов. Очереди за ними не бывало, ибо стоили дорого, 25 копеек — один лимон. Конфетки из топлёного сахара я изготовляла сама — получалась превкусная карамель! Иногда на местном базарчике можно было купить сибирских кедровых орешков, но стоили они не дешево. К концу лета — один раз видела огромную очередь за совершенно зелёными персиками. Два раза продавали мелкие незрелые яблоки — совсем некрасивые.

Чем же объяснялось такое изобилие прекрасных продовольственных товаров, ведь по всей провинции почти все эти продукты доставались людям чрезвычайно редко, за ними приходилось стоять в длиннющих очередях, и так продолжалось годами. . . Дело в том, что в тех краях — шахтёры угольной промышленности за год или

два до моего приезда устроили нечто вроде забастовки — был настоящий голодный бунт. Множество шахтёров — естественно, безоружных, с семьями — что называется “вышли на площадь”, что соответствовало запрещённой демонстрации. Володя рассказывал, что по ним даже стреляли, были жертвы, многих арестовали. . . Но зато, во избежание такого рода эксцессов, снабжение продуктами питания после этого во всём районе угольных шахт стало просто на редкость завидным. Открылся местный молокозавод, парники с помидорами и огурцами — невиданная роскошь для Сибирских посёлков и городков.

Когда в начале июня мы переехали в отдельную квартиру, зарплату Володе, наконец-то, выплатили, и мы стали питаться нормально. Володя любил сам готовить вкуснейшие “фирменные” салаты. Это было немаловажно, так как в это самое время оказалось, что я беременна. Муж воспринял эту новость без особого энтузиазма, несколько приуныл. . .

Однако мне довольно легко удалось его убедить:

— Ничего страшного в этом нет. Ребёнок родится уже не в Сибири, а в Ленинграде, когда ты будешь свободен, это — важно. А потом мы уедем в эмиграцию вместе с детёнышем. Как кочевники или цыгане, например. . . Есть вполне реальная надежда, что нам всё же удастся покинуть нашу горячо любимую родину, не проявляющую к нам ни малейшей ответной любви и вовсе не приспособленную для выращивания в ней детей, более того, даже опасную для жизни таких свободлюбивых людей, как мы.

Мне же ещё с восемнадцати лет хотелось иметь много детей, штук пять — четырёх сыновей и одну дочь. . . Имея такую мечту или “программу”, я вовсе не собиралась рожать для нашей воинственной родины “пушечное мясо”. Наверное, у меня была твёрдая вера в мою счастливую звезду в сочетании с непобедимым легкомыслием. С этого времени я была полна энтузиазма перед выдающейся задачей — создания нашего первенца, моего главного произведения в жизни.

Как только мой первенец начал своё внутриутробное развитие, мне пришлось сразу же бросить курить. Это “он”, зародыш, мне запретил курить, меня тошнило уже от одного вида пепельницы, а табачный дым немедленно вызывал рвоту. Так продолжалось первые три месяца, пока у меня был токсикоз. Но потом меня уже не тошнило, но и курить совсем не тянуло, пока младенцу не исполнилось пять месяцев.

Володя ходил на работу вечером, раз в три дня. Там он оста-

вался недолго, поскольку сторожить там было решительно нечего. Как только все уходило со стройки, он приходил домой ужинать и спать — до шести утра. Я его будила, он бежал “сдавать ночное дежурство” к семи утра, после чего возвращался домой — досыпать. Синекура! Такой, совсем не утомительный режим работы позволял ему писать. Он писал рассказы — прекрасную прозу. Я в это время рисовала цветными фломастерами. Получались картины, которые очень нравились Володе. Он меня хвалил. Посёлок Притомский, в котором мы жили, расположен в долине, на пологом берегу мощной реки Томь. Река несётся вдоль отрогов не очень высоких гор, их закруглённые очертания покрыты роскошной тайгой на “том” её берегу. Иногда мы гуляли по окрестным полям и лесам, собирали грибы. Потом жарили собранные на полях шампиньоны, очень вкусные.

Лето пролетело как-то быстро и незаметно. В середине августа я уже чувствовала себя получше. Узнала, что меня с 1 сентября зачислят на работу в школу, учителем биологии. Это была, пожалуй, самая важная новость и большая удача. Подросший слегка животик мой ещё не был заметен, я его тщательно скрывала, иначе на работу меня бы не взяли. . . К осени мы получили комнату в общежитии, там было скучновато, но тепло, светло и тихо. Рядом имелась почти индивидуальная ванная с туалетом — одна на две семьи, а большая общая кухня находилась довольно далеко, но зато запахи из неё нас не беспокоили. В этом общежитии мы очень дружно прожили до конца Володиного “срока”. Там на кухне я познакомилась с замечательной женщиной. Соседка наша оказалось врачом-гинекологом, она явно относилась ко мне с большой симпатией. Ещё одна небольшая, но важная удача, но об этом я расскажу позже.

Как только мы поженились, с конца апреля, надзор над Володей сразу же прекратился. Считалось, по-видимому, что жена лучше любого коменданта проследит, чтобы ссыльный “узник” никуда не сбежал. Мы это сразу осознали и решили, что пока я не работаю, не дурно было бы нам съездить в гости к моим друзьям в Академгородок, под Новосибирском. Совершенно секретно от начальства, конечно. Нам сильно не хватало общения с умными людьми, с единомышленниками. Размечтались. . . Долго обсуждали этот рискованный план. Вообще-то, выезжать из места ссылки даже за 30 километров — запрещалось, и такое “нарушение режима” грозило отправкой в лагерь без зачтения проведённого на химии срока. В Новокузнецк мы всё же выбирались раза два или три, там жила чета “приличных людей”, знакомые Володиного брата. В последний

наш приезд, когда я была уже с пузом, нам даже чаю не предложили. Правда, жены не было дома, а муж... один — не догадался. Меня мучило от голода, путешествие было долгим, я не выдержала и попросила: “Нельзя ли хотя бы кусочек хлеба...”. Больше мы к ним в гости не ездили.

И вот, к концу августа у Володи накопилось дней восемь отпускных, и мы на ночном поезде рванули в Новосибирск, за 600 км от Новокузнецка, если не больше. Там мы жили у моих друзей и они встретили нас чрезвычайно ласково, у меня остались самые тёплые воспоминания. С семьёй Зои Софроньевны Никоро мы отправились за грибами на острова Обского моря, грибов там было полно. Возвращались на моторной лодке на страшной скорости почти в темноте. Со стыдом вспоминаю животный страх за моего детёныша в животе и мои визги, когда меня окатывало холодными брызгами... С нами “в походе” был шестилетний внук З. С. Никоро — Максим. Не в пример мне самой, мальчик вёл себя удивительно мужественно, вызвав во мне уважение и даже восхищение. В результате, это имя приобрело для меня положительную окраску.

Ранним утром мы вернулись из чудесной поездки, проведя ночь в поезде, усталые, но довольные. Я легла в постель отдохнуть, пыталась уснуть. Вдруг через час-полтора со мной стало твориться что-то неладное. Прибежала вызванная Володей соседка — врач-гинеколог. Не на шутку встревожилась, узнав о моих симптомах. Сказала, что есть угроза выкидыша в связи с расслаблением гладкой мускулатуры, выписала рецепт и послала немедленно мужа за лекарствами в аптеку. Велела лежать и, что самое удивительное, осталась со мной, сидя рядом с моей кроватью до самого возвращения Володи, участливо со мной беседуя и утешая меня своей трогательной заботливостью. Потом сделала мне какой-то укол, и я быстро поправилась.

Но в то время я ещё не знала, что у меня будет сын, с надеждой ожидая девочку. Пусть лучше у меня будет старшая дочь. Она сможет помогать мне воспитывать своих младших братиков — так я думала. Однако когда срок моей беременности был около пяти месяцев, в середине октября мне уже стало известно, что у меня будет сын. Каждый месяц я являлась в больницу для регулярной проверки нормального течения моей беременности. Там меня принимала акушерка, симпатичная женщина с азиатскими раскосыми глазами, шорка по национальности. Однажды, приставив к моему пузу свой стетоскоп и приложив ухо к его свободному концу, она вдруг радостно завопила, победно ликуя: “Мальчик, мальчик!” Моя

славная акушерка, прослушивая сердцебиение пятимесячного плода, безошибочно определила пол ребёнка. Чудеса?

Кто такие Шорцы? Есть такая древняя малая народность в Сибири, страна Горная Шория и находится именно там, где мы жили. Шорцы — раскосые азиаты, похожие на бурятов, издавна живут в местных горах и охотятся на пушного зверя. В их редких поселениях не было ни радио, ни электричества. Шаманы в Шории утверждают, что в тех лесах прячется снежный человек (Йети), местные охотники чуть ли не каждый день находят его следы.

За время моего пребывания в Сибири мне дважды удалось слетать ненадолго на запад, в Европейскую часть страны. В первый раз я слетала в Ленинград ещё в конце июня. По какому-то важному делу, теперь уж и не помню, наверное, Володя меня послал. Я почему-то дико соскучилась по дому и по маме. Однако, к моему удивлению, когда я прилетела из далёкой Сибири, ни мама, ни сестра на меня почти никакого внимания не обратили. Встретили как-то прохладно, как чужую. . . Зато обрадовалась моя семилетняя племянница Марина. Утром она залезла ко мне в кровать под одеяло и радостно сообщила, что она знает, что у меня будет ребёночек. Я удивилась — откуда? Я пока держала от всех в секрете. . .

Она отвечала: “Я сама догадалась, раз вы с Володей поженились, значит, у вас будет ребёночек! Тетя Лиза, я знаю, конечно, что дети растут у мамы в животике. Но не понимаю, как же они оттуда вылезают?” Тут она пресмешно скорчила рожицу, загадочно улыбаясь. . . “Из уха, да? Из уха?” — И показала рукой, как она себе это представляет. Вот смеху было. . .

А в сентябре я слетала в Москву — ещё до начала занятий в школе, куда меня приняли на работу с 1 сентября. Впрочем, занятия там начались только в октябре. В сентябре всех детей отправили на поля — на уборку урожая. . . картошки и капусты. Зарплата мне шла, а преподавать — не нужно, нет учеников. Лафа! Вот мне и удалось на шесть дней слетать в Москву, куда приехала подруга Володи из Франции с подарками для нас. Я смогла отвезти в Москву кой-какие “товары”, например, тулупы из овчины, купленные на базарке в Сибирской провинции за малые деньги. Их заказали наши знакомые. Это помогло нам в нашей довольно тяжёлой финансовой ситуации обойтись без помощи наших недовольных мам.

В самом конце октября мы снова умудрились побывать в Академгородке. Там был проездом уже другой Максим, взрослый на этот раз. Красавец Кончаловский — талантливый пианист, к которому я была когда-то до замужества равнодушна. Опять то же

имя, и вновь — с положительной окраской.

Школа, где я преподавала биологию и химию, находилась в соседнем посёлке, я туда добиралась на автобусе. Автобус этот без ужаса не могу вспоминать. Вечная давка, тряска, вонь и грязь. Расположен был посёлок Нагорный именно на горке — на холме, не очень-то близко от шоссе, по которому шёл автобус. Туда я, уже с пузом, карабкалась в любую непогоду. Мои занятия там, в школе, я в шутку называла: “мои нагорные проповеди”. Представить эту школу довольно трудно. В шестом классе девочки были как девочки — маленькие и славненькие — им было примерно 12 лет. А вот мальчики были всевозможных размеров и возрастов — от 12 до 18 лет. Хронические второгодники. Закончить пять классов им не удавалось даже за 10 лет. Дети алкоголиков, сами — юные правонарушители, будущие алкоголики и уже преступники. Чего они только ни вытворяли! Один раз двое огромных детин явились на мой урок в шапках. Не пожелали снять. . . Спрашиваю, в чём дело? Молчат. Болтливые девчонки выдают: “Они не могут снять шапки, им стыдно. . . у них головы обрили. . . в милиции”. Спрашиваю: “За что?”. “Велосипеды украли и попались”. Ну ладно, пусть сидят в шапках. Разрешила. В другой раз, в ноябре, когда мороз уже перевалил за 20 градусов, я писала на доске спиной к классу. Слышу подозрительный шум. Оборачиваюсь и вижу в глубине классной комнаты пустую парту возле настержь открытого окна. Холодный ветер уже и до меня добирается. . . Ужас. . . Где же ребята? “А они в окно вылезли, вы не беспокойтесь, там пожарная лестница есть. . .” С четвертого этажа!!! Попробуйте навести дисциплину и порядок в такой обстановке. Начинать урок было с каждым разом всё труднее, невозможность добиться тишины приводила меня в отчаяние. Директор не раз вмешивался. Он же уговаривал меня вступать в партию. Не уговорил, я сказала, что по молодости ещё не созрела. . . Через месяц он возобновил атаку — пришлось опять отказать, сейчас, мол, не до того. . . Моя беременность, скрывать которую стало уже невозможно, не вызывала сочувствия у коллег, скорее всего — они мне завидовали. Всем было ясно, что я их обманула и скоро сбегу от них в декретный отпуск, и, вполне возможно, не вернусь уже на работу. Нехорошо. . . А преподавать биологию детям опять будет некому.

Залезать с пузом на гору в декабрьскую стужу и снежную пургу с каждым днём становилось всё тяжелее. После двух месяцев учительской практики в этой жуткой школе я всё больше уставала, у меня нашли сильную анемию. Когда до освобождения Володи

оставалось около двух недель, добрая акушерка — та самая шорка, решила положить меня в больницу, чтобы спасти меня от моей тяжёлой работы в школе. Там мне должны были делать переливания крови, от которых я решительно отказалась — кровь там сдавали одни только алкоголики.

В этой больнице мне было очень скучно, но покой был полный — я наконец-то отдохнула и отоспалась. Там я пробыла дней 10–12, много читала, писала письма и дневник, думала о маме, волнуясь за неё и надеясь, что она не улетит в эмиграцию, не повидав меня. Однако мама улетела совсем одна ровно за неделю до нашего возвращения из Сибирской ссылки — 20 декабря 1974.

Когда меня выписали из больницы, до освобождения мужа оставалось всего три дня. В Новокузнецке по субботам и воскресеньям даже в самые трескучие морозы устраивалась своеобразная барахолка — население имело возможность продавать под открытым небом всё что угодно. Друзья из Питера заказали нам купить по дешёвке тулупы. Закутавшись как следует — мороз уже перевалил за тридцать — мы отправились на эту сибирскую барахолку перед самым отъездом. Спасаясь от зверского холода, я надела настоящие валенки, купленные в Сибири, замоталась оренбургским платком. На площади, вернее, на пустыре, где расположился этот базар, порывы сильнейшего ветра чуть не сбивали с ног. Неровная земля была покрыта толстой коркой льда, чрезвычайно скользкого. Прямо на этом льду были расстелены простыни или просто какие-то тряпки, на которых несчастные продавцы разложили свой товар. Продавалось всё, что может потребоваться в быту, от одежды и посуды до кранов и унитазов. . . Народу было так много, что трудно было протиснуться в тесных проходах между рядами торгующих баб и мужиков. Запомнились редкие торговцы изделиями народных промыслов — там были и вязаные вещи, и вышитые; лапти и валенки, но и кожаная обувь или меховые сапоги, шубы из меха и дублёнки, и вдруг — сушёные грибы, варенья или мороженые ягоды. Одна интеллигентного вида женщина продавала прелестную сумочку, отделанную вышивкой крестиком, говоря, что сумочка эта сделана во Франции. Жаль, что мы её не купили.

Когда настал день отъезда, мы очень разволновались. Во-первых, ещё не были получены мои “декретные” деньги, необходимые, чтобы купить самолётные билеты Новокузнецк — Ленинград.

Володя считал, что его паспорт, хранимый до его освобождения в Комендатуре, ему не нужен. Он собирался улететь в тот самый день, когда кончился его срок по приговору — 20 декабря. Но мне

кажется теперь, что мы улетели накануне — 19-ого вечером, а уже из Ленинграда Володя телеграммой попросил выслать ему паспорт “на свободу”. Так и вышло, он улетел без паспорта, в те времена для покупки билета в аэропорту паспорт не требовался. Сейчас это кажется настолько невероятным, просто в голове не укладывается. Но это факт.

Самолёты из Новокузнецка в Питер летали всего два раза в неделю. Нужно было ухитриться улететь во вторник, именно в тот же день мне должны были выплатить вперёд немалые деньги, за все четыре месяца оплачиваемого вперед декретного отпуска. . . В районном отделе народного образования (РОНО) их выдавали с трёх часов пополудни. А самолет из Новокузнецка должен был вылетать в 16 часов с минутами. Володя говорит: “Бесполезно надеяться, не удастся нам сегодня улететь!” А я его успокоила: “Ничего страшного, без нас самолет не улетит, подождёт, вот увидишь. . . я быстренько обернусь, а ты пока заканчивай сборы, застегни чемоданы, и жди меня!”

Помчалась с пузом на автобус и поехала за деньгами. В три часа я была у двери РОНО — в другом поселке, получила деньги и бегом обратно. К четырём часам мы уже вместе с Володей ловили такси, чтобы мчаться в аэропорт, в Новокузнецк, до которого от Мысков час езды. Когда мы прибыли в аэропорт, оказалось, что наш самолёт даже ещё не прилетел с предыдущего места посадки. Рейс задерживается из-за нелётной погоды — снегопада или пурги, уж не знаю. . . Вот это — повезло! Сразу же мы купили билеты, выложив половину моих “декретных” денег. Ждать пришлось до поздней ночи, но мы оба были страшно довольны, свобода вызывала эйфорию. Всё казалось легко и просто.

Однако сидеть в этом захолустном аэропорту мне было ужасно неудобно — там не было ни одного сиденья, приспособленного для сильно беременных женщин. Володя предложил было мне лететь на грузовом самолёте, где не было вообще никаких сидений — только ящики и холод собачий. Он уже и с пилотом договорился. . . Я конечно, отказалась. Ты, говорю, можешь лететь, а я — нет. Ни за что. После 11 вечера меня осенило, я пошла обследовать разные помещения аэропорта и нашла на одной двери вывеску: “Комната матери и ребёнка”. Я подумала, что это как раз то, что мне нужно. Там стояли детские кроватки с белыми сетками, и больше не было никакой мебели, ни единого кресла или хотя бы стула. В полном мраке я устроилась в маленькой кроватке, опустив сеточку, свернулась на боку калачиком и приготовилась мирно подремать

до вылета. Полежала я минут двадцать. Внезапно ввалилась орава служащих аэропорта, и главная их “баба” тут же включила яркий свет и завопила что было мочи: “А вы что тут делаете? Это же — для матерей с детьми!” На это я ей спокойно возразила, что это как раз мой случай, показав на огромное моё брюхо. Но она со мной не согласилась. Не переставая кричать и браниться, она грубо выгнала меня из комнаты, закрыв её на ключ! Неприятно, конечно, но вскоре по радио объявили наш вылет, и через каких-нибудь полчаса мы, счастливые, уже уселись в самолётные кресла. Прощай Сибирь!

Изначально мне нравилось имя Филипп, я хотела назвать своего первенца Филей. Именно так я ласково называла мужа Володю. Когда-то наша общая подружка Оля так и представила мне моего жениха. Он же был категорически против. Филя Филандров? Это уж слишком! Масло масляное. Мы долго спорили и выбирали имена, которые от перемены стран не меняются. . . Постановили назвать Максимом.

Когда в феврале у нас с Володей родился ребёнок, он весил 4 кг и 100 грамм, а рост его был 55 см! Богатырь!

Через два месяца после рождения Максима мы ездили в Москву, в гости к моим друзьям. Они показали нам православный календарь. Согласно этому календарю, 19 февраля — день рождения моего сына — оказался днём Святого Максима. Удивительно, и даже странно. . . Просто случайное совпадение? А если не случайность?

ПРИЛОЖЕНИЕ

1) Мой шеф — профессор Рэм Андреевич Харитонов всерьёз, но секретно, интересовался хиромантией. Он попросил меня посмотреть детские ладошки у эпилептиков. В результате, я сделала неожиданное открытие так и оставшееся неопубликованным. Практически у всех больных детей и подростков линия жизни на ладони прерывалась приблизительно в том же месте. Разрыв приходился на возраст от 16 до 22 лет. Так вот, из статистических данных известно, что именно в этом возрасте они нередко гибнут, чаще всего — тонут во время купания. Казалось бы, вполне здоровые юноши и девушки, умеющие плавать, и вдруг — тонут. . . Дело в том, что в предыдущие годы, когда припадки совсем прекратились, и болезнь у них никак не проявлялась, они перестали принимать лекарства, считая, что совсем поправились. Но если эпилептики не принимают ежедневно лекарств, то рано или поздно может случиться приступ, и если это случается в воде, то спастись почти никому не удаётся — вероятность стать утопленником огромна. Оказывается, это

почему-то известно уже при рождении, и на руке у большинства детей-эпилептиков обозначен редчайший разрыв на линии жизни — вот загадка!

2) До 13 лет у мамы не было со мной никаких разногласий. Если не считать того, что она категорически воспротивилась моему желанию заняться балетом. С четырёх лет я тщетно мечтала о верховой езде, полюбив лошадей до безумия, а в шесть лет заявила, что хочу стать балериной. Однако впервые я попала на балет только в 13 лет. В тот вечер в программе в первом отделении была Шопениана, а затем — Жизель. Я пережила сильнейшее эстетическое и эмоциональное потрясение, это был самый незабываемый спектакль в моей жизни, и моё очарование балетом осталось на всю жизнь. После спектакля я с обидой корила маму за то, что она никогда не брала меня на балет, почему-то мама ни разу не повела нас — детей — в Мариинский театр, и я не успела увидеть Улановой на сцене. Конечно, я совсем не представляла тогда, насколько трудно было доставать билеты.

С этого времени я окончательно поняла, что мама у нас — не идеальная. Моя безусловная влюблённость в мать, возникшая в младенчестве, вдруг резко охладела. Отца с нами не было, родители наши расстались, когда мне ещё не было шести лет, и до 19 лет я ни разу его не видела. Более того, в нашем доме не было ни одной его фотографии, а если они и были, то от нас — его дочерей — они были надёжно спрятаны. Его низость и предательство были нам мамой в деталях изложены ещё в самом начале развода родителей, продолжавшегося 7 лет. Образ нашего папаши был настолько очернён, что у нас не оставалось к нему ни тени какого-либо чувства, ни малейшего интереса. Казалось, мы просто забыли о нём и всё. Однако, моё извечное любопытство — узнать каков же на самом деле мой родитель Кирпичников — на втором курсе университета мне наконец-то удалось удовлетворить. Помог случай.

3) Приехав во Францию в 1976 году, Володя Филандров написал о Мысках некий краткий очерк, привожу его текст с небольшими сокращениями.

Мыски — это общее административное наименование десятка посёлков и деревень, протянувшихся километров на двадцать вдоль шоссе. Расположены Мыски в Горной Шории в тридцати километрах от крупного сибирского города Новокузнецка и на таком же расстоянии от быстрорастущего города Междуреченска. Через Мыски проходит и связывающая эти два центра железная дорога, сильно

перегруженная встречными перевозками угля. Плотность населения по Сибирским меркам тут необычайно высока, “городское” население преобладает над сельским. Для промышленных районов Сибири это — типичный населённый пункт с населением около 50 тысяч человек. Состоит он из пяти посёлков: “Мыски-центр” (Горком партии, Горисполком, Военкомат и пр.), Шофёрский, Ключевой, Нагорный, Притомский и нескольких деревень: Тутояс, Верхний и Нижний Берензас, Верхний и Нижний Подобас и др. Деревни существуют с давних пор и все названия деревень — исконно шорские.

Два с половиной года мне пришлось провести в посёлке Притомском, построенном в конце пятидесятых—начале шестидесятых годов вместе с крупнейшей в Сибири электростанцией, работающей на угле (Тумусинская ГРЭС). Посёлки образовались в советское время на месте бывших лагерей. Когда лес на десятки километров вокруг вырубался, эсков переводили дальше в тайгу, а бараки бывших лагерей стихийно заполнялись “вольными” жителями. Жильё это было им вполне привычно — почти все “вольные” в этих краях это бывшие эски.

На другом, гористом берегу Томи ещё осталась непроходимая тайга, где живут в редких поселениях полудикие шорцы-охотники. Ещё дальше в тайге расположено множество лагерей, преимущественно, строгого режима, где эски занимаются лесоповалом. Связь с большинством лагерей осуществляется вертолётами. ЮжКузбасс-Лаг — организация, занимающая в центре Новокузнецка несколько крупных особняков под вывесками “п/я №...”, имеет не только свою больницу (не для эсков, конечно), но и свой аэродром. Нередко бываю побегу. Отношение властей к ним чрезвычайно серьёзное: мобилизуется вся милиция (даже ГАИ, даже охрана общежитий для ссыльных и “химиков”), прибывают солдаты Внутренних войск. На шоссе проверяются все без исключения машины, на мосту, при въезде в город, солдаты с собаками останавливают рейсовые автобусы, проверяют нет ли бритоголовых. То же происходит и в поездах.

Немало лагерей и на населённом берегу Томи, ещё больше — в отрогах Кузнецкого Алатау, в верхнем течении реки Мрас-су. Судя по рассказам бывших эсков и адресам писем, приходивших с зон в наше “общежитие”, они были во всех без исключения районах Кемеровской области. По очень скромным моим подсчетам, в 1975 году в Кемеровской области имелось как минимум сто лагерей, как вблизи населённых пунктов, так и в отдалённой густой тайге.

По национальному составу население в Мысках столь же разнообразно, как и население лагерей. Думаю, что в СССР нет такого

народа, большого или малого, который не был бы представлен в Мысках хотя бы одним жителем. . . . Евреев в Мысках было всего двое: один — зубной врач, отбывавший распределение после Кемеровского института, после года борьбы сумевший всё-таки уехать к своим старикам-родителям на Украину, а другой — директор техникума и член партии, впрочем, фамилия его была Иванов.

Довольно много осталось в Мысках исконных жителей этих мест — шорцев. Отношение к ним — весьма насмешливое, “сверху-вниз”, как и повсюду в СССР к малым народам, но в принципе, довольно беззлобное. Сами же шорцы — люди и вовсе добродушные, не гордые, склонные всегда прощать любые насмешки “старших братьев”, помимо своей воли поселившихся на их земле и принесших в дикий край парткомы и водку.

Весьма ощутимый процент населения составляют немцы, среди которых есть не только немцы “Поволжья”, но и “немецкие”. Держатся они чрезвычайно обособленно. На стройке они всегда объединяются в отдельные бригады, в общежитии также живут вместе. Как-то в колхозе Верхний Берензас, куда меня отправили на уборку картошки, я зашёл в правление, на стене там висели приказы и списки бригад. Я был поражён: все, без исключения, фамилии были немецкими. Отношение к немцам в Мысках — крайне враждебное, называют их обычно и в глаза и за глаза — фашистами.

Большая часть населения занята на огромной стройке ЦОФ-а — Центральной Обогачительной фабрики — самой мощной в СССР, сооружаемой в две очереди одновременно с крупнейшей угольной шахтой “Распадская” в городе Междуреченске. Если не считать крупную Томусинскую ГРЭС, промышленность в Мысках — местного значения: ремонтно-механический завод изготавливает подъёмные краны и мелкую строительную технику, есть завод железобетонных изделий, лесопилка, камнедробильный цех, молокозавод, колбасный и хлебопекарня, а птицефабрика, как и ЦОФ, строится уже лет десять. . . .

Борьба с пьянством, как известно, ведётся в СССР лишь на словах. Пили в Мысках практически все и каждый день. С этого начиналось каждое утро, рабочий день и этим кончались вечера в переполненных общежитиях и бараках. Бутылка водки, изготовленной из опилок или картофельных очисток, стоит четыре рубля. Ровно столько составляла, в среднем, ежедневная оплата труда рабочих. И каждый выпивал ежедневно в среднем одну бутылку водки.

Спрашивается — что же ели эти люди? Во-первых, процветало воровство. И со стройки, и с колхозных полей, и с заводов тащи-

ли всё, что можно было унести на себе. Ведро картошки, конечно, можно съесть, а ведро масляной краски можно свезти на рынок в город и продать. Впрочем, эти деньги также пропивали... Во вторых, цена пустой бутылки равна цене буханки хлеба. Случайное ли это совпадение? Ведь буханка хлеба — зачастую единственная пища рабочих в Мысках. Рабочий должен быть сытым, чтобы работать. Вопрос — “а на что они покупали одежду” мне кажется даже наивным. У них её и не было, кроме ватника, рваного и засаленного, кепки, одной-двух рубашек и повидавших виды штанов.

Пьянство сопровождалось преступлениями. Грабежи, насилие и убийства происходили ежедневно. В интервью местной газете “Путь к победе” начальник милиции проговорился о том, что каждый второй житель Мысков совершил в среднем хотя бы одно преступление. И это, считая младенцев и старух. Огромно число самоубийств, а также несчастных случаев на стройке, нередко — со смертельным исходом.

О культурной жизни в Мысках не может быть и речи...

После сибирской ссылки

“А что же было дальше? И как вы эмигрировали во Францию?” — спрашивали меня все те, что дочитали про моё “декабристское” путешествие в Сибирь, куда был сослан на три года мой жених, ставший моим мужем месяца через полтора после нашего знакомства. Ну вот, придётся писать продолжение. . .

Восемь медовых месяцев в холодной Сибири — в Мысках Кемеровской области — благополучно закончились. В тот самый день, когда я вышла в оплачиваемый (вперёд за четыре месяца) декретный отпуск, 20 декабря 1974 года мы с мужем улетели в родной Ленинград. Именно в этот же день, по счастливому совпадению, закончился срок его трёхлетней ссылки. Долетели благополучно. Приехали домой, в нашу коммунальную квартиру на Английском проспекте (тогдашнем пр. Маклина, дом 1, кв. 6), где в двух больших смежных комнатах жила моя мать (Р. Л. Берг) и сестра с дочкой Мариной и своим вторым мужем. Любимой мамы там уже не было, за неделю до нашего возвращения она одна улетела на Запад. Продлить свои сборы в эмиграцию, чтобы дождаться меня, она не могла. ОВиР, выдав разрешение на выезд (с визой в Израиль), давал на сборы и оформление всевозможных документов и получения немислимых справок — ровно месяц. Нам не суждено было попрощаться, и вполне реальной казалась тогда разлука навсегда.

Мы вошли в этот “дом”, где отсутствие мамы ощущалось как грандиозная пустота! Мне даже показалось, что я вернулась не домой, а в какое-то временное, чужое жильё. Уже одно это обстоятельство укрепляло во мне решение эмигрировать.

Молодые люди, не жившие при Советской власти, теперь часто спрашивают, почему мы решили покинуть нашу родину? И как нам это удалось в те неведомые им времена, когда граница для огромного большинства людей была закрыта “железным занавесом”? И почему мы выбрали Францию?

На последний вопрос мне легче всего ответить. Уезжать из прекрасного города Питера мне, вообще-то, совсем не хотелось, но если уж куда-то ехать, то непременно и исключительно. . . в Париж! Мы оба прекрасно умели говорить по-французски, у Володи даже была кличка “Француз” — он окончил французскую школу, приобрёл

немало друзей во Франции, когда работал журналистом и писал для газет статьи про культурные события, вроде выступлений бардов. У него была роскошная коллекция записей и пластинок всех лучших французских шансонье того времени, мы их очень ценили и в Сибири часто слушали.

Теперь пора ответить на первый вопрос. Наша родина была нам не матерью, а мачехой.

После возвращения из Сибирской ссылки и отъезда моей матери в эмиграцию мы действительно оказались в положении внутренних эмигрантов. Никаких перспектив, ни малейшей надежды устроиться на работу или получить возможность жить в отдельной квартире — не было вовсе. Мужу не удавалось даже оформить прописку после освобождения. К матери, где он раньше был прописан, его отказывались прописать, раз он женился. А к жене, чтобы прописаться, нужно было получить разрешение от её сестры, которая вовсе не хотела давать ему это разрешение. Если нет прописки, то на работу устроиться невозможно. Этого мало, получив паспорт с отметкой о судимости, не могло быть и речи о том, чтобы найти приличную работу, особенно по специальности. Журналист — профессия, тесно связанная с идеологией. Найти хоть какую-нибудь работу мужу долго не удавалось. Наконец, его взяли сторожем на завод “Красный Треугольник”, где производили изделия из каучука.

Мне тоже приём на работу был практически закрыт после эмиграции матери. В те времена пособий для безработных не было вообще. Но тех, кто не имел работы, могли обвинить по статье “тунеядство” и просто посадить за это в тюрьму или выслать из города на 101-й километр.

Мы должны были жить в коммунальной квартире и не сметь надеяться когда-либо снять (а на какие деньги?) или “получить” отдельную квартиру. Чтобы встать на очередь, нужно было доказать, что на человека приходится меньше девяти квадратных метров, но у нас — на шесть персон — было как раз 54 (6х9) метра. В задней комнате была сделана перегородка, наша часть огромной коммуналки стала трёхкомнатной. Таким образом, в проходной гостиной, где была дверь на балкон, спали на диване сестра с мужем, в маленькой угловой комнате — семилетняя дочь сестры, а мне с мужем и младенцем досталась просторная спальня — восемнадцать кв. метров, освещённая тройным окном эркера. Там был большой стенной шкаф, всё ещё набитый маминым архивом, и её огромный письменный стол. Высокий стеллаж с книгами в гостиной отгораживал проход, по которому мы и пробирались в свою светёлку.

Через два месяца, в конце февраля 1975 года, туда меня и привезли из роддома с новорождённым первенцем — Максимом. Кухня — общая для всех соседей — находилась довольно далеко. Пользоваться ванной в этой квартире не было возможности — она была чудовищно грязной, и мы всегда ходили в баню. Ребёночка искупать несложно и в комнате, наполнив его маленькую ванночку водой из большого чайника.

Но это ещё не все аргументы в пользу решения эмигрировать. Кроме всего прочего, нас могли привлечь к суду, например, за дружбу с иностранцами или за чтение вышедшей на Западе литературы. Нормально, что после освобождения моего мужа и эмиграции моей мамы, за нами была установлена усиленная слежка. Многих моих друзей-шестидесятников посадили именно в 70-е годы. Я была свидетелем на процессе Славинского. Процесс Марамзина был в полном разгаре. Потом, уже после нашего отъезда, осудили Константина Азадовского, Михаила Мейлаха, чуть позже — Арсения Рогинского. Все эти люди не были ни в чём виноваты, кроме своих взглядов и запрещённых тогда контактов с иностранцами. Мне кажется, у нас просто не было другого выхода. К тому же, я хотела иметь много детей и не намерена была рожать “душечное мясо” для агрессивно настроенной страны. Хотя я и не умею бояться, всё же надоело жить в атмосфере постоянного страха и подозрительности. Всеобщая паранойя сильно угнетала.

Возникла трудная проблема — собрать денег на выезд. Например, нас предупредили, что “за отказ от гражданства” нужно будет заплатить по 500 рублей с человека. На самом деле, мы сами вовсе от него не отказывались. В бумаге, которую я должна была подписать в ОВиРе, указывалось, что “при пересечении границы” нас просто лишали внутреннего паспорта и, тем самым, гражданства СССР. Мы выезжали апатридами. Билеты на самолёт тоже стоили немало, плюс оплата багажа. И многое другое. Мы решили: всё, что можно, распродать. Нам нужно было ещё дожить до момента эмиграции, немало денег уходило на прокорм. Это и по сей день в России — основная статья расходов у большинства людей. Мои “декретные” деньги почти все ушли на самолётные билеты из Сибири. Сколько придётся ждать разрешения на выезд — было неизвестно. Пока я ещё не родила, мы уже умудрились продать кое-что из посуды, картин, пластинок и книг. Муж мой — Филя, как я его тогда называла, был в этом деле большим специалистом.

Приходили гости — наши друзья, соскучившиеся после нашего долгого отсутствия, пировали за нашим столом в уютном эркере,

сильно удивляясь нашей решимости и смелости — уезжать навсегда в новую жизнь, да ещё с пустыми карманами и грудным ребёнком на руках! С точки зрения нормальных людей, мы были отъявленными авантюристами. Мало кто понимал, насколько мы оба были свободными людьми — рабское существование в нашей стране было просто несовместимо с нашими характерами. Если бы мы имели хоть малейшую надежду повидать мир, выехать за границу. . .

Пятого января 1975 года мы праздновали день рождения мужа. Несколько гостей выпивали и закусывали, я же носилась на кухню и обратно, убирая посуду и подавая разные вкусности. Пора было пить чай с пирожными, приношу вскипевший чайник, скоро полночь. Вдруг выясняется, что любезный мой Филя исчез. . . Я не заметила, как он ушёл, мне гости сообщили, что муж мой вмиг сорвался и уехал в. . . Москву! Вот это сюрприз!

— А его сапоги, между прочим, стоят на своём месте, вот тут. Он, что же, в тапочках по снегу помчался на вокзал, чтобы ехать в Москву? — Никто ничего не знает и не понимает. . . Я тут же прошу у гостей прощения, надеваю свой тулуп, который уже не застегивается на выпирающем животе, и мчусь на мороз его догонять. Непременно нужно его поймать, он же выпил уже немало, раз ему вдруг такое взбрендилось — поехать в Москву, ничего мне не сообщив, да ещё и в домашних тапках. На улице — ни души, метель. . . Никого не видать, машин — тоже нет. Я почти бегом дошла до угла улицы Декабристов, где теоретически можно было поймать такси. Безнадёжное дело. Волнение моё всё нарастало. Простояв долгих двадцать минут и основательно продрогнув, я так и не увидела ни одной машины. Так бывает в глухом захолустье, а не в историческом центре многомиллионного города. Вдруг вижу: на нашу улицу завернул почтовый грузовик. Меня осенило, интуиция подсказала, что все равно я Филю не догону, напрасно я тут стою. И я, стараясь не плакать, пошла быстрым шагом домой.

Когда я вернулась, он уже был там и смеялся вместе с гостями, рассказывая им о своих приключениях. Уже немало выпившие гости дружно хохотали. Он приехал с вокзала на том самом почтовом грузовике. Самое смешное, что денег в кармане своих джинсов он не нашёл, хотя сам туда положил красивую сиреневую купюру в двадцать пять рублей, которую ему жена подарила на день рождения. Пришлось ему занимать пятерку у гостей, чтобы расплатиться с шофёром. Когда он приехал на вокзал — неясно только, на каком транспорте, — почти все ночные поезда уже ушли. Направился в кассу за билетом, но денег не нашёл. . . слишком много карма-

нов! Долго пытался уговорить кассиршу выдать ему билет без денег, имитируя француза, едва говорящего по-русски. Этот “номер” — невероятно смешно — был повторён при гостях: как он рассказывал ей, больше на пальцах, чем словами, что отстал от группы, уехавшей в полночь в Москву на Красной Стреле. Кассирша была тверда и неумолима, более того, она почуяла, что “француз” пьян и пригрозила вызвать милицию. Милиционеры стояли всего в двух-трёх метрах от кассы и странно на него поглядывали. Это Филю слегка протрезвило, и он решил больше не настаивать. Выйдя в тапочках на мороз, он стал думать, как ему добраться домой, и договорился возле вокзала с шофёром почтового грузовичка. Приключение закончилось вполне благополучно. Мне было, конечно, впору сильно обидеться на мужа, но я его немного пожурела и быстро простила. . . Он ведь только две недели был на свободе — после трёх лет тюрьмы и ссылки. Его тоже можно понять. . . По его же рассказам, в ранней юности, до тюрьмы, под действием алкоголя он всегда стремился уехать — и уезжал!.. в Москву.

Для меня это была первая ласточка, предупреждение — странности в поведении моего мужа пока ещё мне были неведомы, а позже оказалось, что это — только цветочки, ягодки будут впереди. . .

Моё письмо от 13 февраля 1975 года, посланное маме в Рим (написано за 6 дней до родов).

Сверху: Это — от Лизы

Мамочка, здравствуй! Получила ли ты моё письмо по почте?

Позавчера говорила с тобой по телефону, очень приятно слышать твой голос, такой бодрый и энергичный. Я по тебе очень скучаю, конечно, беспокоюсь, как ты там. Незачем тебе так уж о нас волноваться, у нас всё постепенно улаживается, только очень медленно.

Филю, наконец-то прописали, временно — на год — у его мамы, это, вероятно, для того, чтобы с обменом ничего не вышло, так как свой ордер он теперь не получит (пока) и меня прописать к себе не сможет. Для этого потребовалось мне вмешаться, ему было заявлено, что при наличии жены он к матери прописан быть не может. Мы взяли в конторе форму №9 и заявление Маши, что она отказывается в прописке своему зятю. Всё это привезли в милицию, там наши паспорта забрали и долго выясняли что-то, но наконец, поставили штампик о прописке. Пришлось Филе перед этим встать на военный учёт. Теперь у него красненький военный билет. К нему на квартиру ходят дружинники и разыскивают его, а он там не бывает, только

днём иногда забегает за почтой. Как видишь, положение таково, что нужно сваливать как можно скорее.

Деньги мы добудем, продав книжки, Филину муз. технику и пластинки, а также картинки, например, Каплана. Как ни жаль, но это всё же — большие деньги.

Как только я рожу, мы пошлём письменные запросы на характеристики (из жилконторы), и дальнейшая волокита будет зависеть от скорости их получения нами, ясно? Сейчас по-прежнему принимаются в ОВиРе документы, и есть знакомые, получившие разрешение. Так что, в общем, нет оснований терять надежду. Завтра, в пятницу, я пойду в ОВиР по твоему совету и узнаю, как быть с вызовом для ребёнка и мужа. Но пока я думаю, что ты успеешь прислать нам с Филей отдельный вызов. Мы тебе сразу будем звонить, как только я рожу. Это предполагается 26 февраля, я получила направление для “родоразрешения” в ВМА — Воен.-мед. академию. Там очень хорошо обращаются с бабами, окружают их заботой и вниманием; кроме того, младенцев купают сразу после рождения в чудесной голубой ванне (а больше нигде такой нету).

Мамуля, я тебя очень люблю и страшно хочу видеть. Жаль, что ты моего пуза не увидишь, я хочу сфотографироваться сейчас, если успею. Я тебе тогда смогу прислать фотокарточку — ужасно смешно я выгляжу.

Мы были на “Жизели” 4 февр., танцевали французские солисты из “Опера” — очень мило, особенно она, а он, конечно, Барышникову в подмётки не годится, но, в общем, тоже — ничего. Билеты нам Паша Сталинский принёс. Он тут был и очень стеснялся, смешной ужасно, смотрел на мой живот с выражением ужаса и сожаления одновременно, как будто никогда беременных не видал.

Мама, все вещевые посылки и бандероли обкладываются огромной поплиной. Так что передавай с людьми, а по почте можно посылать только книги.

Мы получили твои открытки из Рима от 17 января. Славинский пять раз написал, что ты сильно похудела, так ли это? И почему? Передай ему большой привет и спасибо, что написал, и за заботу о тебе — тоже. Зачем вы с ним ругаетесь по пустякам? Наша Маринка в больнице — это очень грустно. И не пускают из-за карантина. Я, конечно, без неё тоскую и скучаю ужасно. Маша побоялась ей в больницу дать твою открытку, но я ей написала сегодня в письме, что ты ей прислала и чтобы она тебе написала.

В квартире соседи нас не обижают, тишь да гладь, а ко мне — так с особым вниманием и заботой. . . Противно, но всё же терпимо. . .

Савва сегодня звонил, очень много спрашивает, например, списалась ли ты с Галичем или с Жоресом Медведевым, а я — не знаю. И делала ли ты доклад, и есть ли у тебя заработки какие-либо?

У нас было всё время очень тепло, наши тулупы висели без употребления, так как шёл дождь и не было морозов. Вот только два дня, как похолодало и стало похоже на зиму.

Пришли заверенную нотариальную дарственную на дачу (может быть, через Мишель Боден?). Если ты сможешь, то пришли мне бумажных пелёнок целую гору — вот было бы здорово!!! Но вообще-то у меня всё будет, ты не беспокойся. Кое-что важное мне подбросит Слава Станкевич со своей Анн — француженкой. Мы с Филей у них были на днях — у них двое прелестных детишек. Мальчик Федя 4-х и девочка Аньес — 2-х лет. Они к нам приедут на днях на своей машине и с ванночкой для меня.

Целую тебя крепко-крепко. Филя кланяется и шлёт привет. Пиши часто. Лиза.

Приближался день моих родов. Я всё больше задумывалась, по примеру моей племянницы, как же такой большой ребёночек из меня может “вылезти”. Даже готовилась к смерти, но без паники, довольно спокойно. В последний день перед родами я сумела побывать на базаре, закупила продуктов, мяса и какие-то овощи и фрукты. Возле прилавка с русскими расписными деревяшками (деревенские матрёшки, ложки и прочие грибочки и копилки) состоялся смешной разговор. Типичная русская баба в платке, с многозначительной улыбкой указывая на мой огромный живот, поинтересовалась: “Когда, скоро ли роды?” Я ответила, что “уже срок, не то завтра, не то послезавтра”... И прибавила, что мне не совсем понятно, как же я рожу, может быть, и не выживу... Она же со смехом воскликнула, радуясь почему-то: “Ничего, выживешь! Что заряжено — то выстрелит!”

Вечером, накануне родов у нас опять были гости, Филя снова с кем-то чокался. Когда у меня начались схватки, около 11 вечера, он как раз пошёл провожать гостей до дверей. Вернулся, и тут я ему сообщила, что у меня вдруг, после первой же схватки, отошли все воды. Он пришёл в дикий ужас, я его успокаивала и просила вызвать такси... Отчаявшись вызвать по телефону, он побежал ловить такси на улицу. Долго бегал, но так и не поймал, вернулся домой. Вопреки моему совету, вызвал “скорую”. Между прочим, его спросили мою фамилию, однако, он вдруг забыл, что я его жена и ночью его фамилию, и сказал “Берг”. Когда он мне об этом

сообщил, я была в лёгком шоке, но посмеялась...

Когда я приехала в роддом, было около часа ночи, схватки уже участились и шли регулярно, боли стали довольно сильными. Мне казалось, что я вот-вот рожу, но упитанная медсестра средних лет совсем не спешила, заполняя входные данные. Затем меня сразу же отправили мыться — под душ, таков порядок. Возражения не принимаются. Следующий этап — промывание кишечника, попросту — клизма. Для сравнения, во Франции никаких гигиенических процедур в родильных домах не делается, это уму не постижимо! Всё это мне тогда казалось странным, поскольку мне было неизвестно, что первые роды продолжаются в среднем 12 часов. Ровно столько и мне предстояло помучиться. Меня уложили в чистую постель в палате на двоих и, чтобы я не слишком мешала другим спать, заткнули мне рот и нос кислородной маской. И забыли её забрать — вместо получаса я дышала кислородом часов пять! Моя соседка в полном мраке сильно кричала, её вскоре забрали из палаты, и она родила за два с половиной часа. Моя долгая ночь оказалась совсем бессонной.

В восьмом часу меня перевели в огромный светлый зал, в котором стояли два ряда столов — на расстоянии метра полтора друг от друга, их было, наверное, больше двадцати! Почти на всех столах уже лежали роженицы. Настоящий родильный цех! Но мои роды никак не могли завершиться, шейка не спешила открываться, а ребенок совсем не помогал. После моего зверского падения, за неделю до этого, лежать на спине — уже само по себе было пыткой, плюс сильнейшие боли во время схваток. Никаких обезболивающих средств мне не давали. Так я пролежала более двух часов, полагая, что про меня просто забыли... Однако в десять часов пришла важная дама, которую все ждали, чтобы заняться моими трудными родами — заведующая отделением. Наконец-то, она пришла! Она меня спасла.

Вокруг меня собралась куча народу — в ногах у меня полукругом стояла большая группа студентов, им давали наглядный урок, как принимать трудные роды. Рожала ведь я в Институте акушерства и гинекологии. По меньшей мере, четверо профессионалов занимались только мною. Напротив меня стояла наготове акушерка, готовая поймать ребёнка. Сзади меня за плечи поддерживала то ли медсестра, то ли нянечка. Рядом с акушеркой стоял высокий мужчина — врач-хирург. Он же давал студентам нужные сведения и комментировал происходящее. Заведующая тоже время от времени обращалась к студентам. Очень интересно, но мне было

не до этого. Интервалы между схватками, когда боль отпускала, длились не более минуты.

Когда начиналась очередная схватка, мадам Заведующая, стоя сбоку, командовала: “Та-ак, глубокий вдох, а теперь — тужься! Изо всех сил!!!” В то же время сзади мою спину сгибала вперёд медсестра. Эти чудовищные усилия называются “потуги”. Мне пришлось проделать это упражнение 27 раз! Я, как спортсмен на соревнованиях, старалась всю — при полной концентрации воли и энергии, но с каждым разом силы мои убывали, это была отчаянная борьба, как на войне — кто победит? Нужно было спасти ребёнка, во что бы то ни стало! Речь действительно шла о жизни и смерти — это я отлично понимала.

Но как я ни старалась, мои усилия не привели к нужному результату. В конце концов, заведующая, потеряв терпение, приняла оригинальное решение. Она вдруг навалилась на мой живот своим мощным предплечьем. Толщина его соответствовала толщине моей ляжки. Детёныш был просто вынужден выскочить из моего живота, откуда ему самому было не выбраться. Хирург не сплеховал и вовремя, быстро и ловко сделал надрез — эпизиотомию, зная, что за его движениями внимательно наблюдали красивые девушки-студентки. Это было необходимо, чтобы избежать разрывов — такого великана я родила! Скальпель хирурга был настолько остёр, что боли от разреза я даже не почувствовала, что неудивительно — на фоне чудовищной, адской боли финального этапа. Но эта боль, как правило, длится только одно мгновение (время одного ужасного вопля!) и сразу же забывается, вспомнить можно только сам факт, но не ощущение. . . Какое невероятное облегчение, сразу все мучения кончились!

Студенты смотрели, затаив дыхание. . . И вот, из меня вылез на свет Божий толстенький ребёночек лиловато-синеватого оттенка с пуповиной, дважды обмотанной вокруг шеи. Пуповину сразу же размотали. Акушерка с гордым видом держала упитанного младенца за ножки, вниз головой. Я успела увидеть круглые подушечки его ягодиц и складочки на задней стороне ляжек. Обычно эти складочки появляются только на втором месяце после рождения. Но младенец всё не кричал. . . Какая зловещая тишина! В полном ужасе я сразу же начала считать секунды: раз, два, три. . . и когда я досчитала до десяти, все с облегчением услышали горестный плач младенца. Пока он не дышал, для меня прошла целая трагическая вечность. Это были длиннейшие секунды в моей жизни — время дико растянулось, почти остановилось, как бывает при замедлен-

ной съёмке... каждая секунда длилась не меньше минуты!

Младенца унесли, и нас разлучили на целые сутки. Так полагалось в этой стране (СССР), если рождался ребёнок более четырёх килограммов (4100 гр., ростом 55 см!).

Потом меня зашивал тот же доктор-хирург, вообще без какой-либо анестезии, втыкая иголку в живую ткань. В полном изнеможении, обессиленная родами и бессонной ночью, я посмела жалобно протестовать. Он отвечал, что придётся потерпеть, и мои стоны он всерьёз принимать не собирается, что после таких родов — это просто ерунда. Я же про себя думала, что роды — это особый случай, ради великой цели можно и потерпеть. Но после родов — цель уже выполнена, и терпеть боль — просто унижительная пытка!

Я ещё не знала, что издевательства только начинаются... Свободной кровати в послеродовой палате для меня не нашлось. Измученную до предела, меня оставили на узкой высокой “каталке”, поставленной в коридоре, где я пролежала более шести часов, боясь упасть, если засну... Каталка эта поставлена была, как нарочно, рядом с кожаным диваном... Слезно умоляла я нянечку позволить мне перебраться на диван вместе с моей простыней. Не позволено — вот и весь ответ. В палату, где стояло не менее двадцати кроватей, меня перевели только к шести часам вечера! Тут я смогла, наконец, уснуть.

А дитя своё мне удалось увидеть только на следующее утро. Запеленатого по старинной моде, его принесли мне на кормление грудью. Новорождённый Максим смотрел на меня очень внимательно, с явным напряжением, глаза в глаза, как будто изучая свою мать. Как выражалась нередко моя мать, восторг и восхищение! Какой прелестный, синеглазый и белолицый младенец! Мы познакомились, и уж не знаю, как я — ему, а он мне — очень понравился!

Моё письмо, отправленное маме в Рим от 11 марта 1975 года, через 3 недели после родов:

Мамочка, милая!

Поздравляю тебя с днём рождения (на всякий случай, заранее) и желаю — ну, чего, как ты думаешь? Во-первых, бодрости и здоровья, во-вторых, никакой ностальгии (а нам с тобой — скоро воссоединиться или хотя бы встретиться), в третьих, побольше разных *abnormal abdomen* и *singed* у D (дрозофил), в четвёртых, интересной работы и симпатичных коллег, и друзей побольше. Вот сколько пожеланий!

Мы с Мариной тебе рисуем картинки в подарок, в придачу к на-

шей любви, которую также посылаем. Скучаем, целуем и обнимаем тебя!

Почему-то от тебя нет писем уже почти месяц. Последнее (№7) мы получили числа 16–17/2, ещё до рождения Максима. А ему сегодня уже три недели. Я его сегодня зарегистрировала в ЗАГСе. Мы все дёргаемся и бегаем в ящик смотреть — поминутно. А Савва звонит и хвастается, что уже второе письмо от тебя получил тем временем. А сам не приходит, чтобы дать почитать, а всё норовит по телефону болтать, но мы не хотим. Он — странный, и своими вечными, настырными расспросами вызывает у нас резкую антипатию. Особенно его волнует, на что мы живём, как будто он нам в состоянии помочь. . .

Филя сказал, что у меня — abnormal abdomen. Это после того, как я спросила, когда у меня исчезнет пигментная линия посредине живота.

Максимка ужасно миленький и растёт не по дням, а по часам. Аппетит у него — просто невероятный. Соску ко рту прижимает ручкой и вообще необычайно координированно машет ручками.

12/03 1975 г.

Продолжаю.

Времени совсем не хватает. Верчусь, как белка в колесе. Рожала я не в ВМА, как было задумано, а в “Отто” — на Менделеевской линии, приехав туда на машине скорой помощи. Из-за того, что Филе не удалось вызвать такси, он в дикой спешке вызвал всё же “скорую”.

Для получения направления в ВМА я за неделю до родов специально была там на приёме (поехала одна, муж меня сопровождать отказался, стесняясь моего огромного пуза). Уходя из больницы, я пошла во дворе посмотреть, куда ехать, когда буду рожать, и поскользнулась, грохнувшись на спину со страшной силой — там лёд был под снегом. Это был такой кошмар! Я думала, что тут же и рожу на снегу. К тому же на меня ехали два грузовика с разных сторон, но медленно и безопасно, но ты представляешь, как я испугалась!.. Это — пострашнее родов! (Сцена была, как в кино: грузовики тут же остановились, один — в трёх шагах от меня. Из него быстренько выпрыгнули две бабы в серых ватниках и бросились ко мне, а я валяюсь посреди дороги на снегу, животом кверху — в своем толстом тулупе, и не только встать, а даже повернуться на бок не могу. Бабы, тоже напуганные, меня подняли на ноги, утешали. . . При них я старалась не выть, сдерживалась. . . Отсиделась на улице, на какой-то скамейке полчаса, пытаюсь успокоиться. . . Потом я и

дома плакала до вечера, так было обидно, что со мной мужа не было, чтобы меня поддерживать, и температуру наревела — 37,5°. На спину лечь было невозможно несколько дней — так я себе отшибла поясницу. Как я не родила там же — уму непостижимо.

Ну вот, Максик укакался, нужно его обмыть и запеленать.

13/2/75, ночь.

Видишь, как мне некогда. Уже третий день не могу письмо дописать. Дорисовала тебе картинку — букет гиацинтов, который, к сожалению, завял, пока я его рисовала. Так что розовый — совсем свежий, белый — позже всех распустился, а остальные — уже начали увядать и стали ещё изящнее и графичнее, но менее живописны и свежи. Увы. . .

Пришли, пожалуйста, дарственную на дачу, заверенную (т. е. подпись твою) нотариально. Ты забыла? А писем от тебя по-прежнему нет. Странно. Инженер в Сестрорецке интересуется нашими делами. Вызывала Машу для беседы, спрашивала, хотим ли мы реставрировать. . .

Рожать было ужасно. Первые дни после роддома, я его (“Отто”) проклинала и без содрогания вспоминать не могла. Обращались со мной там очень паршиво, я там плакала каждый день. После родов оставили на каталке в коридоре лежать, так как мест не оказалось, а на следующий день с дитятей разлучили, объявив, что у меня грипп, якобы, раз у меня герпес на пояснице расцвёл. Перевели меня в изолятор на другое отделение, где настоящие гриппозные лежат. В моей палате была женщина, которая всё время плакала — она родила мёртвую девочку.

Но теперь я уже в воспоминаниях отмечаю и хорошие стороны тамошнего пребывания — стерильная чистота и доброта отдельных людей: и врачей, и сестер — некоторые просто замечательные. А потом к нам в палату на третью койку привели молодую женщину, которая родила близнецов — двух мальчиков общим весом 7,5 кило: один весил 4,5 кг, а другой 3 кг. А сама она — худая и стройная, только живот у неё — почти чёрный и какой-то как плиссированный — она показывала. Тут уж мои страдания и подвиги (мой родился — 4,1 кг) совершенно померкли.

Молока у меня пока хватает, хотя и стало поменьше, чем вначале, и слава Богу. Кормлю не только своего, но ещё одна мамаша заходит за молоком каждый день. Бюст совсем почти не вырос. Без молока — №1, а с молочком — №2.

Наконец-то в Ленинграде солнышко стало показываться, а то замучили дожди и туман. Максим теперь спит на балконе (уже полто-

ра часа), а в комнате почти всё время окно открыто. У Казанского собора — зелёная травка — прошлогодняя, а по краям — грязные сугробы.

Теперь — про твою любимую внучку Маринку. Она очень выросла и внешне — очаровательна. Чёрные реснички. Очень хорошо выглядит после больницы, поправилась и чувствует себя хорошо. Она нарисовала эти вишни, вместе со мной. Заявила, что гиацинты — это она не может, слишком трудно. Вообще, ужасно обленилась, только читает целыми днями. Но она в школе страшно устаёт, она на продлённом дне. Я её угощала маслинами. Она сказала, что это она из-за бабушки так любит маслины. Это ты её приростила, да?

К Максиму она как-то равнодушна, почти не интересуется, первое время рвалась, но была простужена, и её не пускали, а теперь охладела и даже говорит: “Он — не мой, какое мне дело?”

Письмо от Марины на двух открытках, отправленное бабушке в Рим: (Fermoposta Romacentro 00100 Roma) 23 марта 1975 года.

(Открытка 1 — “Осень, Кузьминки”, художник И. А. Соколов.)

Дорогая бабушка!

Я получила от тебя письма и открытку от Ребекки. Я нарисую тебе несколько картин. Привет от меня Ребекке. Из больницы меня уже выписали. От папы я не получила письмо. Максим мне нравится.

(Открытка 2 — “Тигр”, художник В. В. Трофимов.)

У Максима — серые глаза. Я приеду, когда удастся. Я очень хочу иметь кота или кошку. Может быть, ты мне пришлешь какую-нибудь кошку? Я буду писать, только ты не скучай.

Целую. Марина

Разлука бабушки и внучки, как и дочки Маши, продолжалась до 1981 года, более шести лет! Все эти годы мать непрестанно боролась за отъезд младшей дочери с внучкой. Сохранилась огромная папка писем, адресованных правителям разных демократических стран и в разные еврейские правозащитные организации. Но дело было безнадежным, пока не давал разрешения на выезд дочери Марины её отец — бывший муж Маши.

Вызов в Израиль на нас троих мы получили вскоре после рождения Максима. Мама очень оперативно справилась с этой задачей. К концу мая нам всё же удалось собрать все необходимые справки и документы и подать досье с просьбой разрешить нам выезд в эмиграцию, якобы, в Израиль, куда у нас имелась виза, других вариантов тогда не было. Мы даже получили требуемые характери-

стики (положительные) из жилконторы — самое сюрреалистическое изобретение гебистской административной фантазии! Муж работал на заводе “Красный Треугольник” сторожем на вахте. За пронос украденных товаров он взяток — в виде стакана или даже бутылки водки — не брал, так что трезвым возвращался домой, в результате ему предложили повышение с назначением его “старшим сторожем”!

Начались долгие месяцы томительного ожидания решения властей в лице ОВиРа. Обычно разрешение давали довольно быстро — через два месяца после подачи. Если в такой срок разрешение не было получено, то, как правило, ещё через два месяца приходил отказ. Тогда подававшие люди сразу переходили в особую категорию “отказников”. Положение изгоев в стране рабов — даже трудно себе представить это ужасное бесправие и безнадёжность. . . Мы успешно старались об этой мрачной перспективе не думать, твёрдо надеясь, что нам повезёт.

В июне, когда грудному младенцу Максиму уже шёл четвёртый месяц, я решила удрать из вонючего пыльного города и вывезла детей на дачу в Комарово. Максимкина кузина Марина, которой в июле должно было исполниться восемь лет, была мне там большой помощницей. Сестра моя Маша работала, и ей моё предложение — взять дочку на дачу — пришлось по душе. Филя оставался в городе и продолжал заниматься трудными хлопотами, связанными с предстоящим отъездом, с разборкой маминого архива и отправкой книг, как маминых, так и наших. Он регулярно приезжал на дачу и привозил нам еду и разные гостинцы — дефицитные товары. Например, однажды утром выглянув в окно, я обнаружила на берёзке ярко-жёлтые гроздья бананов. Сразу догадалась, что муж приехал и где-то прячется в саду, не желая нас будить. . . Я в это время пеленала младенца на столе, на зелёном шерстяном одеяле. Максим лежал на спинке — ножки кверху. Пока я рассматривала бананы на берёзе, он умудрился в первый раз самостоятельно перевернуться на живот и чуть не упал со стола. . . Я услышала жалобный, испуганный крик! Обернулась и увидела такую смешную картину: мой орущий от страха малыш вцепился ручонками в своё одеяло, которое вместе с ним сползло быстро на пол, его ножки уже свисали со стола! Я успела его поймать почти у самого пола. . . А жили мы в маленькой сторожке, рядом с пострадавшей от пожара розовой дачей. Сторожка тогда была ещё цела, но в ней не было ни света, ни воды. Потом, когда мы уже выехали на Запад, сторожку тоже подожгли.

Электрические провода были сорваны кем-то со столба, стоявшие

го в саду. Специально. Чтобы никто не мог бесплатно пользоваться электроэнергией. Мы освещались свечами и керосиновой лампой. Очень романтично. Правда, в июне ночей почти не было, солнце на наших широтах заходит после 11 вечера, а восходит через час после захода. Воду мы таскали в вёдрах от соседей. Маринка поливала мне из кружки в саду, когда нужно было помыть попку ребёнку, мы обе поливали друг друга, когда умывались. Через неделю зашли к нам в гости мамыны друзья — Порайкошицы — и научили меня, глупую, как просто включить воду в подвале той же сторожки. Да здравствует водопровод с проточной водой — это роскошное облегчение бытовых проблем!

Однажды пришли представители местной администрации и заявили мне, что я не имею права тут жить. Я им сказала, что живу по праву в своём доме, пусть они мне докажут, что этот дом принадлежит кому-то другому, тогда я уеду. Они ушли и больше меня не беспокоили.

Некоторые друзья недоумевали, как я могу жить рядом с мрачным пожарищем и не впадать в депрессию. Пока было светло и тепло, и природа вокруг ликовала: перед глазами — голубое море цветущих незабудок, с белоснежными волнашками цветов одичавшей ананасной клубники, с вкраплением жёлтых нарциссов — между могучих стройных сосен с лилово-оранжевой окраской стволов и стройных берёз, пышных цветущих кустов и высоких наперстянок; нежнейшие ароматы хвойных смол, ландышей, черёмухи и жасмина (для носа) и райское щебетание птиц (для уха) — всё это прекрасно заглушало во мне тягостное впечатление от дома-горемыки, где прошли счастливые годы моего детства. Мой “дом” — природа, и сад, мой сад всегда был для меня важнее дома. Радовала возможность, как в детстве, ходить на берег залива, где на песочке теперь загорал мой славный младенец! А в августе, когда похолодало, и ветер по ночам стал волком завывать, качая высокие кроны деревьев, в тёмной нашей сторожке стало как-то уж слишком уныло и даже чуть-чуть страшновато рядом с чёрной дырой вместо крыши “отчуждённой” розовой дачи.

Мы вернулись в город. Пора было всерьёз готовиться к отъезду. Прошло уже три месяца после подачи нашего досье в ОВиР, но ответа всё не было. По счастью, ежедневные заботы о младенце и радостные наблюдения за его стремительными успехами в овладении своим телом и окружающим миром всё же не давали нам впадать в уныние и предаваться мрачным мыслям о неопределённости нашего будущего.

Письмо от меня маме, написанное в конце сентября 1975 года:
Здравствуй, мой тонкорунный Эйнштейн!

Спасибо за большое письмо №21, которое пришло 21/09. Я тебя очень люблю и письма твои обожаю, ты в них тоже очень характерная. . . Очень меня огорчает, что ты так перенапрягаешься и утомляешься на работе. Пора бы тебе научиться экономить свои силы и не работать за троих.

У нас жизнь очень трудная, мы тут все подряд болеем какой-то простудой, то ли гриппом, то ли нет. Сначала Маринка, потом я, потом Максим, потом Маша, а теперь — Володя. Ну, слава Богу, в лёгкой форме. У Маринки бронхит уже две недели, а Максимка был болен по-настоящему один день, температурил, а сейчас только насморк не сильный, но настроение бодрое — играя со мной, веселится и хохочет очень радостно. Утешает меня и успокаивает нервы своим видом. У него обворожительная улыбка и 7 зубов (3 — внизу) смешно показываются. Встаёт на четвереньки и качает попойкой ужасно смешно.

Я была в театре, в первый раз после его рождения. Папа Сталинский пригласил меня в Малый Оперный, где он теперь солист. Танцевал Хосе в “Кармен-сюите” Щедрина-Бизе, танцевал прекрасно, я сидела во втором ряду и наслаждалась необычайно. А в первом отделении была смешная опера “Не только любовь” на темы колхозной жизни. Очень едкая пародия, и поставлено интересно. Декорации просто замечательные. Мне понравилось.

Получили твою посылочку очень быстро, за две недели (пошлина 4.60). Спасибо, лифчики прелестные, только жалко твоих денег на такую ерунду тратить. Ведь у Маринки нет ни зимнего пальтишка, ни платьев, ни обуви, и у Маши тоже пусто совсем. Я уж о себе и не пишу, мы вообще всё распродали и ничего не покупаем. Странно, что так долго разрешения не дают, скоро уже четыре месяца ждём. . .

Четверг, 25/09/75 (на том же листе — на обороте).

Савва получил твоё письмо от 30/08. Мы ему продали твой письменный стол и оранжевый шкафчик (за 100 р.). В пятницу, 19/09 (Максимке — 7 месяцев), мы перевозили мебель и отправляли тебе книги на почтамте — 100 бандеролей по 5 кг. Володя заказал грузовик в трансагентстве, с грузчиками. Сначала привезли сюда к нам диван, секретер и журнальный столик с его квартиры на Фрунзе, а здесь погрузили стол и шкаф, и коробки (20) с книгами, я поехала на почтамт надписывать адрес, а там ждал Савва и дальше он

повёз мебель к себе домой. Мы сегодня к нему поедem или, может быть, он — к нам. А Маша сидела дома с детьми, так как она — на бюллетене и не работает.

[. . .] Я купила на рынке белых и маслят и поджарила и намариновала баночку, ужасно вкусно. Вот до чего докатилась — грибы на рынке покупаю. А ещё бруснику намочила — 1 кг.

Получили мы две открытки от Славинского, на которых ты с ним в Риме сфотографирована у волчицы. Очень мило он пишет, что скучает по тебе и что сидит в Риме на птичьих правах. Нужно ему написать, да всё некогда, так устаю, верчусь как белка в колесе. Володя запретил мне гостей принимать чаще, чем раз в неделю. Он меня так смешно ревнует ко всем. Он тебе пишет письма целыми днями, но они ему не нравятся и он их уничтожает, всё боится тебя расстраивать.

Мы ходили в “Корюшку” после трудов праведных (19/09), там — прекрасные картины и витражи Бориса Зельдина¹ и его Сони.

Ты спрашивала, как Левитина зовут (Валентин, а жену его — Жанна). Мы его встречаем постоянно, но в гостях не были давно, а он у меня был, когда Максимке был месяц. Валентин тут сидел и читал, пока я носила вечером еду Володе на фабрику “Красный Треугольник”, где он треугольник (нарисован) сторожил.

У нас холодрыга, дожди всё время и ветер чуть ли не ураганный. Вода в Неве на 2,5 метра выше нормы поднялась.

На даче мы давно не были, Володя поехал и обнаружил в большом доме настоящую выставку абстрактного искусства, поп-арта и даже реалистической графики. Кто-то отковырял большие картонные (или фанерные?) щиты обшивки, и нарисованы портреты углем и вид Парижа, и все комнаты увешаны этими картинами, как на выставке, то есть повешено на двух шнурках на гвозди. Кроме того, к потолку привешен кухонный зелёный шкафчик-столик вместе с некоторой посудой, а кувшин отдельно болтается — это поп-арт в чистом виде. Жаль, что я не видела, всё мечтаю туда съездить, посмотреть и грибков набрать, да всё с Максимкой по рукам и ногам связана. Эх, век свободы не видать!

Что такое твой “грант” для работы в Университете, это деньги, что ли? Лучше бы ты не бросалась на новые популяции (мух), как оголтелая, а публиковала бы свои старые данные поскорее, а новые — ведь никуда не денутся. Это же сумасшествие — так работать!

¹В конце того же года эта пара талантливых художников тоже эмигрировала — в Америку.

У твоей старшей внучки Маши Квасовой была свадьба 5 сентября, там (в доме напротив) так громко кричали “горько!”, что у нас слышно было. Зачем ей моя помощь, ума не приложу. Я хотела её поздравить, позвонила по телефону, но какая-то её подруга сказала мне: “У нас тут свадьба идет, её позвать сейчас невозможно, позвоните попозже, когда танцы будут”. А я не смогла позвонить, у меня была температура и я “неотложку” вызывала насчет грудницы. Но всё обошлось, быстро так рассосалось с помощью Максимки и кварца (про эту неприятность я совсем забыла, значит, я ходила облучать грудь. . .).

Позвонила твоим московским сестрицам, очень мило мы побеседовали, дала им твой телефон и адрес. Они уж и ждать твоих писем перестали, хотя ты им, оказывается, писать обещала сразу.

28/09.

Твоё письмо Володе от 13/09 пришло 26/09. Вчера твой голос по телефону очень меня порадовал. Пиши мне почаще. Целую тебя крепко-крепко. Привет от Володи, Маринки и Маши, Женья в командировке. Получила ли ты Машины письма — она тебе послала три, кажется, в сентябре?

Целую ещё. Пиши. Твоя с.д. (старшая дочь) Лизка.

P.S. Посылаю в письме 4 фотографии.

В те же дни мой муж вдруг сообщил, что его мама решила вручить нам перед самым отъездом огромную сумму денег, в качестве наследства. Три тысячи рублей — почти все её сбережения! Она всю жизнь откладывала из своей скромной зарплаты и теперь решила, что нам на первое время эти деньги в нашей новой жизни на Западе могут сильно пригодиться. Какая замечательная идея и гуманная акция!

Только мы всё равно не сможем вывезти ни рубля, ни доллара . . . Это категорически запрещено. Все эмигранты должны были выезжать с пустыми карманами и торговать матрёшками, чтобы купить себе хоть что-то в Западном мире. Вот такая задача . . . Как переправить за границу такую сумму денег? При этом нужно учитывать, что за “валютные операции” тогда сажали в тюрьму.

Представьте себе ситуацию: мы с мужем уже пять месяцев ждём разрешения на выезд, и вот, буквально за месяц до предполагаемого отъезда нам вручают такую огромную сумму денег, но вывезти их невозможно! Я предложила сначала просто вернуть “лишние” деньги моей свекрови. Володя категорически возражал. Долго спорили и обсуждали ситуацию. . .

С моей точки зрения, оставался единственный разумный выход — нужно их срочно потратить на месте... Я предложила мужу немедленно укатить на юг, сделать вид, что мы вовсе не торопимся получить разрешение от ОВиРа, а безмятежно путешествуем по Чёрному морю. Там, на юге — тепло и полно фруктов. Гораздо лучше, чем сидеть в этом осином гнезде коммунальной квартиры, в сыром и темном городе и предаваться вполне обоснованному унынию. Уговорить Володю удрать из нашей коммуналки не составило большого труда.

Мы быстро собрались и в начале ноября уехали из промозглого Питера. Поехали сначала в Москву, купив билеты в “мягкий вагон” первого класса — впервые в жизни ехали в отдельном купе. Поехали мы провожать друзей в эмиграцию, а из Москвы — поездом в Сухуми — на Чёрное море. Но в Сухуми тогда гостиниц было очень мало, в дорогой отель для командировочных нас не пустили, сказали, что с грудными детьми — нельзя! Пришлось снять комнату в частном секторе, но там было холодно и сыро, отопление не работало, а ночи были уже прохладные. Тогда, изрядно устав от невозможности согреться, мы купили отдельную каюту на корабле и, счастливые, отправились в круиз в сторону Одессы. Не только Максим, которому в ноябре стукнуло 9 месяцев, но и я впервые плавали по морю. На корабле кормили вполне прилично, но меня всё время подташнивало, я считала, что от качки. Но качки было мало или её совсем не было, а меня всё тошнило... Потом, когда мы вернулись в Питер, оказалось, что я снова беременна. А Максимчик был ещё маленький, но тяжёленький — сам он ещё ходить не умел. Рожать второго ребенка в нашей ситуации было немыслимо...

По мере продвижения нашего корабля на северо-запад становилось всё холоднее, дул довольно сильный ветер. Вдруг нам сообщили, что в Одессе грянули морозы, полопались трубы, нарушено снабжение электричеством — что-то похожее на стихийное бедствие.

Погуляв в красивейшей, залитой солнцем Ялте, которую я однажды уже посетила и успела полюбить, мы решили плыть обратно. Билеты нам поменяли почти без доплаты. Перед заходом в Сочи у мужа случился приступ каменно-почечной болезни. Он очень мучился. На корабле оказалась врач, симпатичная женщина. Она выписала ему рецепт и направление на анализ мочи.

Как только мы причалили в Сочи, он пошёл в поликлинику, а я осталась ждать его в столовой одна с младенцем. Пока я сбегала за тарелкой, Максим умудрился упасть со стула и дико плакал... Шишку набил. Наконец, вернулся муж — бледный и несчаст-

ный, принял лекарство, немного полегчало — боль временно утихла. Но гулять по курортному городу у него не было сил. Погода там была пасмурная, под стать нашему состоянию . . . Сочи я так и не повидала.

Через пару часов наш корабль уже снова вышел в море. В Сухуми мы не вышли, доплыв до Батуми уже в самом конце ноября. Море было дивного цвета и гладкое, как зеркало, порт и бухта невероятной красоты. Солнце и влажная теплынь — субтропики. Миндаль, хурма и мандарины. Там мы, наконец-то, согрелись. Нам к тому же повезло — накупили там бумажных пелёнок, в то время их почти нигде не продавали.

В начале декабря, когда мы вернулись в Сухуми, мы всё же смогли поселиться в роскошном отеле — с красными коврами на лестнице! Отель был с видом на море, на парадной набережной. К ночи у мужа опять начались страшные боли, вызывали врача. Утром я пошла на базар и, по совету какой-то бабки, купила петрушки, заварила целый пучок в стакане кипятка, а кипятильник у нас был с собой. Уговорила больного выпить сразу весь стакан, и он моментально поправился. Петрушечный отвар — сильнейшее мочегонное, мелкие камни в почках растворились и благополучно выскочили.

Через пару дней меня разыскал один ленинградский знакомый, часто бывавший в нашем доме ещё до отъезда мамы, Ефим Кудашев. Вполне вероятно, его командировали из КГБ специально за нами следить. Иначе — откуда ему было знать, что мы живём в Сухуми? Он назначил мне встречу, сказал, что случайно оказался в Сухуми на какой-то конференции. Я разыграла доверчивость и пришла на свидание. Я не собиралась обсуждать с ним никаких наших планов, и он толком ничего от меня не добился — поговорили о ребёнке, о здоровье, я делилась своими впечатлениями о южном путешествии, которое подходило к концу. От этого визита к нам Кудашева остался неприятный осадок.

В те же дни мы узнали, что в Москву прилетела из Парижа француженка Сильви — давняя подруга моего мужа, она тоже наверняка работала на обе разведки. Это послужило нам сигналом, пора было возвращаться в зимний Ленинград.

Случайно нашла мамини стихи, написанные в конце первого года в эмиграции (перевод японского хайку), ноябрь 1975 года.

Моя мандрагора

Unfit for being . . .

(Я не способен жить, не годен для бытия. . .)

Exile, unanswered love —
(Изгнание, несчастная любовь —)
Му mandragoga.
(Как мандрагора — мне в утешение.)

(это мой перевод)

Жизнь не по мне. . .
Я — не по жизни. . .
Бедствия, разлуки
нужны мне, чтоб вынести
Невыносимость бытия,
как мандрагора нужна
казнимому, чтоб облегчить
предсмертные страдания.

Письмо от меня — маме в Америку — 14.12.1975 года:

Вот, наконец, пишу тебе письмо! При этом пожираю каштаны, привезённые из Сухуми. Мы вернулись 5 декабря самолётом. Там было 20 градусов тепла и потрясающе дешёвый и разнообразный базар. Мандарины — 80 копеек, груши — 40–60 коп., хурма была сначала 30 коп., а под конец — 70 коп./кг. Кинза нам осточертела.

Ну ладно, перехожу к делу. Как тебе уже должно быть известно, твои посылки мы все получили, т.е. шубу мою (пошлина — 100 рублей, за любую шубу) и комбинезончик Максиму, и костюм, и перчатки, варежки, шапочку, носки и 3 губки + три карандаша (зачем?). За детские вещи пошлина — ничтожная, чисто символическая. Итак, спасибо большое! Комбинезон прекрасный, но зиму обещают здесь лютую, как в 41-ом году, и шубка для Максима была бы актуальнее. Но пока гуляем в комбинезоне, он — в самый раз и очень идёт владельцу, шапочка очень удобная и мягкая, но больше всего Максиму понравились красные колготки, присланные Марине, но впору лишь ему. Он над ними так смеялся и потешался, дергая за концы! Умора.

У нас — никаких новостей из ОВиРа, уже полгода ждем. В среду Володя пойдёт на приём узнавать. А Лёва Гинзбург получил разрешение и 26.12 — тю-тю! Страшно рад. Ещё есть люди, подавшие, как и мы, в июне. И вот 31.12 — уезжают, а мы сидим. . . Надоело всё это предельно.

Я хожу в твоей шляпе с шарфом, перчатки очень тёплые и красивые. А шуба совсем не годится, так как велика, коротка и совсем не греет. И Володя очень недоволен, что ты не выполнила нашей

просьбы в точности и не прислала что-либо дорогое, натуральное, длинное и тёплое, что можно носить годами и потом продать не менее дорого. Он хотел послать обратно, и очень меня презирает за то, что я взяла и заплатила 100 р. Вообще, у него есть множество ко мне обид и претензий, и презрения — девать некуда! Это всё очень плохо, а мне его жаль, тем не менее. Максима он любит искренне, но только так, чтобы поиграть с ним, а накормить там, или переменить штаны — это он не желает. А Максимка уже большой, почти что ходит, но я его не учу, пусть сам научится, он в движениях поразительно свободен и самостоятелен, полон изящества и грации с самого младенчества, я им всё любуюсь — не налюбуюсь.

Жаль, что второго нельзя родить, а то в июле у него уже могла бы быть сестрёнка готова или братик. Но увы! Сил моих нет — второго рожать подряд без твёрдой в жизни опоры, и помощи ведь ниоткуда не предвидится. . . А устала я страшно, хотя в Сухуми всё же дней пять удалось отдохнуть, я даже загорела немножко. Ещё мы плавали на пароходе до Ялты, а оттуда — до Батуми.

Я рада, что у тебя исправилось настроение и ты работаешь с большой радостью. Ты — молодец, не вешай носа. Нужно Богу молиться за нас и за Машу и за тебя, что я и буду делать.

Ну ладно, целую тебя, надеюсь всё же увидимся, может, ты в Европу сможешь приехать. Пиши мне и люби.

Твоя Лиза

После этого пришлось в срочном порядке избавляться от плода, начавшего давать признаки жизни сначала на корабле, а потом и на суше. . . Помните, как меня тошнило? Записываться в очередь на аборт в районную больницу, где требовалось предоставить массу справок и сдать кучу анализов и где эту операцию делали без малейшей анестезии (но зато бесплатно!), у меня уже не было времени. Не было также и сил вынести непереносимые унижения, без которых там не обходилось. Нужно было найти частного врача, за деньги, делать тайно, в домашних условиях. Я нашла, но совершенно не помню, ни кто был этот врач, ни кто помог мне к нему обратиться, но что ещё удивительнее, не помню даже той квартиры, где операция делалась на кухонном столе. Врач, во всяком случае, был безупречен, рискуя при разоблачении попасть в тюрьму. К счастью, оказалось, что беременность у меня есть (восемь недель), а плода — нет. Как доктор ни искал, ничего не нашёл. Я была немало удивлена, что такое бывает, но радовалась, конечно, что убивать никого не пришлось.

Ещё через неделю мы получили, наконец, разрешение покинуть

нашу родину, не позднее, чем через месяц. Начались лихорадочные сборы и отправка последних посылок. Хождение по инстанциям, оплата счетов, выписка из коммунального жилья, предоставленного государством. Перед отъездом необходимо было заплатить огромную сумму за “отказ” от гражданства.

Никаких бумаг вывозить не разрешалось. Даже свидетельства о рождении и о браке, не говоря о наших дипломах. Их брать с собой запрещалось. Мы должны были сделать заверенные нотариально копии и переводы всех наших документов. Только эти копии мы имели право вывезти в эмиграцию. Длиннющий список запрещённых предметов, включая деньги, золото и драгоценности, впечатлял. Проще было составить список разрешённых предметов. Можно было взять с собой только обручальные кольца, и всё. Золотых обручальных колец у нас, как на зло, не было, их роль играли две золотые ручки — Паркер и Кросс, но их вывозить запрещалось, несмотря на малое содержание золота. На вывоз антиквариата и книг, изданных до 1950 года, требовалось не только разрешение специальной комиссии, но и оплата немалой пошлины.

Мужу пришлось съездить в Москву, чтобы тайно передать подлинники наших документов в голландское посольство, где находилось представительство Израиля. Володя передал ему толстенный портфель с рукописями своей прозы и подлинниками документов: дипломы, трудовые книжки. . . Там же лежали и наши свадебные подарки — две золотые ручки. Забегая вперед, сообщаю любопытному читателю, что этот ценнейший портфельчик мы получили по почте из Израиля — через месяц после приезда во Францию. Проверяли содержимое с большим волнением. Все бумаги были на месте. Пропали только одна из золотых ручек и свидетельство о рождении сына Максима. Младенца не лишали гражданства и в КГБ, по-видимому, решили оставить его свидетельство о рождении на родине. Значит, и в Голландском посольстве был шмон. Удивительно, что всё остальное до нас дошло.

По мере приближения отъезда сгущалось ощущение непрерывной слежки. Приходил наш отец — повидать на прощанье меня и своего прелестного внука Максима. Мы уезжали навсегда, а отца ни разу не выпустили “за кордон”, пока не рухнула Берлинская стена и “железный занавес”. Разлука нам предстояла не вечная, но всё же долгая — двенадцать лет! Помогало нам сочувствие и участие друзей, которых так не хотелось покидать.

Сборы подходили к концу. Чемоданы наполнялись постельным бельём, вещей было не очень много, но на нас троих всё же оказа-

лось десять мест багажа. Самолётные билеты уже были куплены, паспорта сданы. К тому времени нас уже лишили гражданства, потребовав “вернуть” наши паспорта. Советский парадокс заключался в том, что с нас за это содрали по пятьсот рублей (около 1000 евро или пять месяцев зарплаты) за каждого взрослого. Только за младенца не пришлось платить, поскольку он ещё не имел паспорта, и ему полагалось жить без гражданства до шестнадцати лет.

И тут вдруг, за четыре дня до отъезда случилось нечто непредвиденное.

Во втором часу ночи я всё ещё гладила и складывала в чемоданы постельное бельё, уставшая до полного изнеможения, пока грудной ребенок спал и не просил его покормить. . . Вдруг я почувствовала острую боль в животе — как будто мне туда нож вонзили. Боль не только не проходила, но явно распространялась и вверх, и вширь. Пришлось вызвать “скорую помощь”, приехала машина, и меня увезли в больницу. Муж, в полной растерянности, остался с одиннадцатимесячным сыночком, который ещё даже не научился сосать молоко из рожка.

Раз, два, три, четыре пять —
Вышел зайчик погулять. . .
Вдруг охотник выбегает,
прямо в зайчика стреляет!
Пиф-паф! Ой-ой-ой!
Умирает зайчик мой.
Привезли его в больницу,
потеряли рукавицу.
Привезли его домой —
Оказался он живой.

Так и со мной. В больнице мне было заявлено, что у меня — “внематочная беременность”. Этого не может быть, говорила я врачам. Однако впоследствии со мной такое случалось регулярно — мне и рак объявляли раза три без каких-либо анализов. . . Диагноз был абсолютно абсурдный и невероятный, но всё же — сильно впечатляющий. Особенно тем, что могут разрезать, не выписать из больницы по крайней мере дней семь или даже больше, а у нас билеты на самолёт — до Вены, причём, через четыре дня. К тому же, у меня дома грудной ребёнок без мамы пропадает, бедняга. С такими мрачными мыслями мне приходилось бороться, но я так устала, что просто решила сперва выспаться, благо дали что-то обезболивающее, а потом уж на свежую голову разобраться самой в ситуации.

На следующее утро я объясняла врачу, готовившему меня к операции, что не имею возможности тут оставаться, пропадёт мой билет в Вену для вылета в эмиграцию, спросила, как мне связаться с моим отцом. В те времена у нас не было мобильных телефонов. Врачиха сказала, что на лестнице есть телефон-автомат, мне быстро удалось дозвониться, и я попросила отца помочь мне отсюда вырваться. Объяснила, что боль у меня из острой превратилась в тупую, вполне терпимую, что чувствую я себя хоть и слабой, но не слишком больной. . . Он обещал сделать всё возможное.

Начались хлопоты по вызволению меня и оказанию помощи оставшемуся без мамы младенцу. Посидеть с ним и покормить приехала добрейшая Ольга — жена его родного дяди. Мой муж смог справиться без меня с последними административными преградами, главное, сдать багаж — десять чемоданов — на таможеню. Никаких ценных и запрещённых предметов там не было, мы должны были выехать абсолютно нищими.

Пока что меня исследовали, наблюдали и готовили к операции. УЗИ, то есть “эхографию” в этой ленинградской больнице в те далекие времена не делали. Диагноз не отменяли до результатов анализов крови. На следующее утро, о чудо! — у меня началась менструация. Я немедленно отправилась на поиски врачей, чтобы мне отменили злоеший диагноз, требующий операцию. Они были явно разочарованы. У меня же появилась твёрдая надежда назавтра улететь в Вену. К шести часам вечера за мной явился мой папа и твердо заявил, что меня нужно немедленно выписать из больницы. Короче, они со скрипом согласились отпустить меня “под расписку”, и при выписке мне наконец-то сообщили правильный диагноз. Какой-то Дуглас-инфильтрат, а что это означает, и как это лечится, мне ещё предстояло выяснить. Сказано было, что, по-видимому, у меня лопнула киста на яичнике, выросшая на месте “жёлтого тела”. В справке, выданной мне при выписке, было корявым почерком написано по-русски от руки, что мне немедленно по приезду в другую страну необходимо явиться в больницу. Между прочим, я не скрывала в больнице, что назавтра улетаю в Вену. Но им и в голову не пришло, что там никто по-русски читать не умеет. Смех и грех!

Освобождение из больницы вызвало эйфорию и прилив молока в груди. Дома меня ждал грустный младенец, потерявший надежду вновь обрести свою пропавшую мать и её вкуснейшее молоко. Он тут же блаженно присосался к моей переполненной груди.

О счастье¹

Я ничего не боюсь. Это полезно повторять много-много раз, в конце концов — начинаешь этому верить. . . Я даже не боюсь смерти.

Но одиночество?

“Я так один!” — это немецкий поэт Рильке так написал — по-русски. И это преодолимо. А может быть, особенно необходимо, если хочешь что-либо создать, творить, а не только потреблять. Ибо творец — всегда один, приговорён к одиночеству. . . Так смирись, радуйся беде — и твори на счастье!

Лучше всего творить ночью. Даже рождение происходит в ночи. У обезьян родовые схватки при наступлении дня прекращаются, свет и роды — несовместимы. Большинство человеческих детёнышей рождается тоже ночью.

Пока есть память — ничего не страшно, память — это главное в жизни, это нить существования, источник вдохновения, это и есть — жизнь. Без памяти жить не стоит, смерть — лучше.

Однажды в Сибири, в заснеженном Академгородке возле Новосибирска, когда мне было лет семнадцать-восемнадцать, приснился мне сон. Залитый солнцем, чужой город, я в нём никогда наяву не бывала, но, тем не менее, хорошо его знаю. Я в нём живу, и давно, по-видимому. Даже имени не нужно, легко догадаться, вполне очевидно (уверенность сна, не нуждающаяся в логичных доводах), что этот город — Париж.

Дети играют в мяч на неширокой улице, дома — одноцветные, желтоватые — в золотистом освещении послеполуденного солнца, и удивительный покой, и нет движения — машины стоят смирно вдоль тротуаров, яркими пятнами разнообразия монотонную окраску улицы.

Рядом со мной — лавочка. Бутик, где продают разный трикотаж. Я вхожу и прошу показать мне чулки или колготки, точно не помню. Молодая продавщица очень мила и приветлива, приносит мне пять пар чулок прелестных расцветок, а главное — ажурной вязки, с французским вкусом и фантазией. Все мне нравятся, самое трудное — выбрать две пары. Я теряю уйму времени, но не напрасно, ибо я безмерно счастлива в эти мгновения, как будто выбираю

¹Впервые рассказ опубликован в Альманахе “Глагол” №1, Париж, 2009. — (Прим. ред.)

для себя в подарок одну из пяти картин Брейгеля или Вермеера. Ощущение полной гармонии с миром, меня окружающим, тепло, солнечно, лето, тишина, дети играют, девушка-продавщица очаровательно приветлива, не торопит, она полна симпатии ко мне. Даже есть деньги, чтобы купить эти дивные чулки. Чувство полной безопасности и свободы.

И я просыпаюсь от томного восторга, не ведая, что эти ощущения, как две капли воды, смогут в жизни в точности воспроизвестись, и где? — в Париже, куда я и не мечтаю попасть, и даже никоим образом не могу себе представить, что буду там жить — и всего через каких-нибудь десять лет. . .

Но иногда, как сквозь сон, прорывалось сомнение: а может быть, я уже жила там, и даже была эмигранткой? Или этого не было, а только ещё будет — потом? Что же — в прошлом, а что — в будущем?

Время не имеет такого уж большого значения, если память складывает в одну шкатулку с драгоценностями все отрезки существования, вдруг приближая детство и отдаляя вчерашний день за три-девять времен.

Всё-таки вам, наверное, интересно узнать, как я живу теперь в Париже? Завтра я иду смотреть фильм, где в главной роли — мой любимый.

Что же такое счастье?

Смотреть с любовью в прекрасные, чудные, обворожительно-непостижимые, любящие глаза. Понимание, сопричастие к любви. Вдыхать томительно-волнующие запахи любимого существа, ощущать тепло и бархатистость или шелковистость прикосновения. Непередаваемый вкус поцелуя. Ощущение чуда взаимности.

Изумление — от необыкновенности совпадения чувств. Творить вместе нечто чрезвычайно хрупкое, мираж, фантом, безнадежно краткое мгновение счастья. Забыть себя, своё отъединённое от мира существование, свою ограниченную пространством и временем сущность, телесность, превратиться в нечто вдвойне духовное. Две души, соединённые воедино, звучат иным, мощным аккордом, и это созвучие — гармония — высшее чудо и достижение человеческого общения и порождает то, что именуется счастьем.

Но, про счастье, это ещё не всё!

Есть такой прекрасный способ “активной медитации” — общение с природой. Нужно только постараться быть столь же внимательным и самозабвенным, всецело любящим и пытающимся понять существом. . . И тогда гармония созвучия вызовет то состояние, которое и есть счастье, радость бытия, восторг перед Жиз-

ню, Богом-творцом прекрасного, чья непревзойдённая фантазия — в эстетике природного творчества — неисчерпаема. Запахи, шорохи, щебет птиц, мягкость и изящество мхов, разных травинок, деревьев-стойков, моих любимых грибов, прекрасных цветов и бабочек, всякой живой твари. . .

Только — тихо, не шуметь! Бесшумно растворись в этом царстве, постарайся в него проникнуть, как дитя Божие, как брат деревьев, трав и всего сущего.

И ещё, счастье — это суметь сделать то, о чём мечтал, к чему лежит душа, что есть твоё призвание и предназначение в жизни. И найти его — высшее счастье.

Париж, 1980–1981

Экскурс в историю семьи Кирпичниковых: генеалогический этюд

Вместо эпитафии:

При внимательном изучении этнического характера греков в нём, действительно, обнаруживается много черт, напоминающих хорошо известную педагогам и психологам психическую организацию ребёнка или подростка. Здесь мы находим столь характерную для детского возраста особую подвижность или пластичность внутреннего мира, постоянную готовность к переменам и даже ожидание их (жажду новизны), способность к быстрой адаптации в постоянно меняющихся житейских ситуациях, а стало быть, и к быстрому усвоению непрерывно поступающей отовсюду новой информации (то, что принято называть “открытостью” или “экстравертностью личности”), свободу от застывших стереотипов поведения и мышления, страсть к экспериментам и экспромтам, к неожиданным и странным комбинациям предметов, слов, понятий (своего рода калейдоскопичность интеллекта), неизменную свежесть восприятия явлений окружающего мира или то, что может быть названо “детской наивностью” и “способностью удивляться”, наконец, *умение радоваться жизни невзирая на её мрачные, трагические стороны и даже известного рода беспечность!*¹

Это описание этнического характера инфантильных древних греков вполне совпадает с характером большинства представителей русской семьи Кирпичниковых, включая меня.

Как реальная жизнь древних греков смыкается с мифологией, так наш род уходит корнями в древность, недостаточно подкреплённую письменными свидетельствами. Таковы три первых поколения Кирпичниковых, следы которых удалось разыскать в различных источниках.

Предполагаемым прародителем отцовского рода был **Иван Васильевич Кирпичников** (Кирпишников), сотник Яицкого казачьего войска. Сведения о нём содержатся в опубликованной Пушкиным “Летописи” П. И. Рычкова и его же конспекте этого источника. Он родился в 1732 году, а умер не ранее 1774 года. Кирпичников упоминается в “Истории Пугачёва” как один из предводителей восстания казаков “мятежной” стороны (13 января–6 июня 1772 г.).

¹Ю. Андреев: “Цена свободы и гармонии”. Изд. Алетей, 1998.

Кирпичников Евстигней, рождённый около 1753–1765, мог быть сыном или племянником Ивана Васильевича Кирпичникова.

Кирпичников Стахей родился около 1785–90. Вероятно, был отцом Матвея Стахеевича.

О **Кирпичникове Матвее Стахеевиче**, моём пра-прадедушке, можно говорить уже с полной уверенностью. Он родился в 1824 году, закончил Технологический Институт в Санкт-Петербурге и был довольно известным изобретателем. Имел несколько сыновей, среди которых были Дмитрий и Стахей.

Проследим генеалогию этих двух ветвей рода Кирпичниковых — вначале Стахея, а затем Дмитрия.

Стахей Матвеевич Кирпичников — младший из братьев. О нём и его семье известно мало. Он родился в 1854 году. Закончил Технологический Институт в Санкт-Петербурге, затем строил мосты где-то на Урале — в Оренбурге или Уфе. Женат был на генеральской дочери Софье Щепиной. Их дети: Константин, Надежда, Евгения.

Константин Стахеевич родился в 1894 году. Закончил Технологический институт в Санкт-Петербурге. Жил в Москве, Ленинграде. Жёну его звали Дина. У них было двое детей: сын Юлиан и дочь Нона. Человек он был замкнутый. С двоюродными сёстрами и братьями (детьми Дмитрия) встречался редко. Больше ценил Сергея. Говорил, что «Виктор был гордецом».

Надежда Стахеевна вышла замуж за офицера царской армии Авенира Дмитриевича Загребина (1883–1937), который после революции метался между белыми и красными (РККА — армия Колчака — РККА). Судьба этой семьи трагична. Известно, что в 1937 они проживали в Казахстане, в г. Темир Актюбинской области. 19.11.1937 А. Д. Загребин был арестован органами НКВД по Актюбинской области. Приговорён к высшей мере наказания по обвинению по ст. 58-1 УК РСФСР и расстрелян. Реабилитирован 10.08.1988 Актюбинским облсудом, за отсутствием состава преступления.

Три их сына — Мстислав¹, Святослав² и Ярослав — были репрессированы вслед за отцом. Выжила только дочь — Нина Авенировна Загребина. Она стала артисткой цирка, вышла замуж и родила двух дочерей: Ирину и Елену. Ирина стала балериной Мариинского театра, а Елена — театральным художником.

¹Расстрелян 12.09.1938, Казахская ССР, Актюбинская область АП РФ, оп.24, дело 419, лист 23.

²Расстрелян в 1941 году. Погребён в Николаевске-на-Амуре а общей могиле.

О **Дмитрии Матвеевиче Кирпичникове**, моём прадедушке, известно довольно много благодаря воспоминаниям его старшей дочери, Веры Дмитриевны (сестры моего деда).

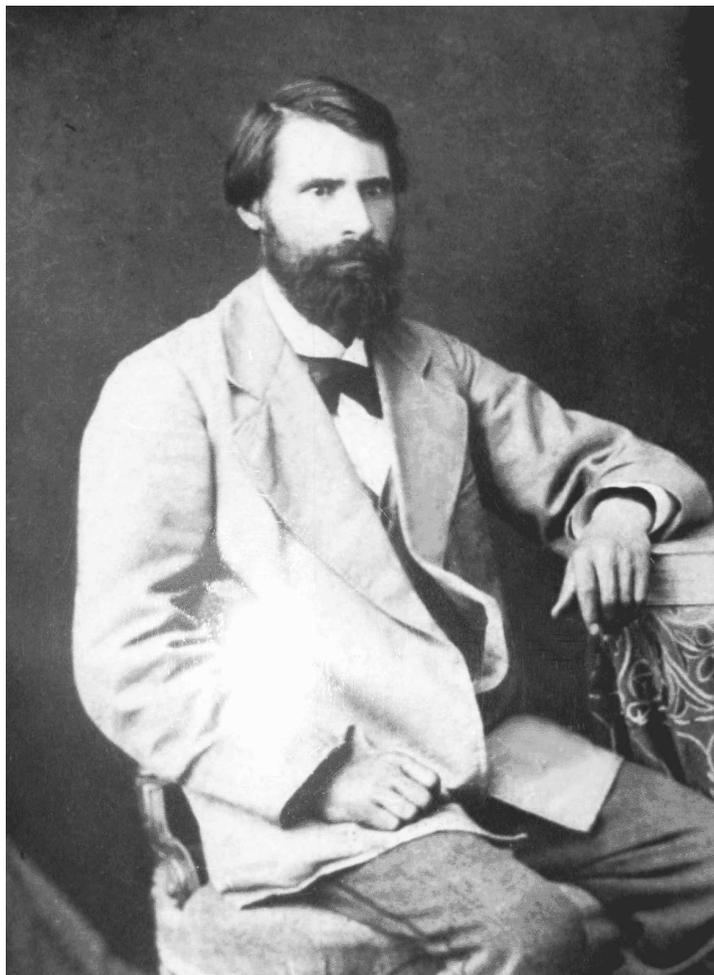
Он родился около 1846 года, умер в декабре 1906 года. Известно, что он был уральский казак из бедной семьи, что в юности работал домашним учителем в некоей семье, которая помогла ему получить высшее образование. По окончании Уральского войскового училища был студентом Технологического института в Санкт-Петербурге. Закончил институт с дипломом инженера-технолога (химик). Принадлежал к петербургскому нечаевскому кружку Старицина, вследствие чего 2 февраля 1870 года был арестован и привлечён к делу Нецаева. В мае 1871 года преследование было прекращено за недостатком улик.

Дмитрий Матвеевич был способным инженером и изобретателем. По словам моего отца, он где-то на Урале “мыло изобрёл” — речь шла, как мне помнится, о мыловаренном заводе. В числе его известных изобретений — применение пиреновой кислоты (одна из фракций нефти, относится к разряду жирных кислот). Его “пиреновая жидкость” служила для пропитки железнодорожных шпал, предохраняя их от гниения, а также для обработки отхожих мест (сильнодействующее средство санитарной обработки), главным образом, в тюрьмах. Брошюра с описанием изобретения Д. М. Кирпичникова и патент на его имя хранятся в библиотеке имени В. И. Ленина (Москва).

В молодости Дмитрий служил на заводах и в лабораториях, а в 1884 году сам построил свой “Завод” — в семи километрах от города Кинешма, в овраге у ручья. Завод представлял собой одноэтажное деревянное здание с земляным полом (типа сарая), там производилась пиреновая жидкость. Вместе с ним (по найму) работали несколько рабочих и бондарь, изготавливавший бочки. Наполненные пиреновой жидкостью бочки отвозили на лошади на станцию в Кинешму, затем их отправляли на место потребления по железной дороге.

18 января 1875 года он женился на Олимпиаде Прокофьевне Шапошниковой (родилась 1 августа 1857 года, умерла от инфаркта в конце 20-х или начале 30-х годов).

Её отец был человеком состоятельным, имел большой яблоневый сад, продавал яблоки. Мать — Анфиса (Анфуса) Сергеевна, домохозяйка, была жива ещё в 20-е годы. Имела какое-то образование. Родители Олимпиады были против брака дочери с бедным казаком, но юная дочь, окончив гимназию в 17 лет и полюбив Дмитрия, вы-



Дмитрий Матвеевич Кирпичников — прадедушка

шла за него замуж против их воли.

Олимпиада Прокофьевна была женщиной сильной и волевой, во всём помогала своему мужу, а после его смерти умело продолжала его дело. В семье было пятеро детей: Вера, Сергей (мой дед), Виктор, Екатерина и Борис. Дети запомнили свою мать строгой, но справедливой, в случае детских недоразумений умеющей примирить все их споры. Все пятеро детей Кирпичниковых получили высшее образование.

Их старшая дочь Вера в своих воспоминаниях пишет о счастливом браке своих родителей, в их семье была атмосфера взаимной любви и уважения. В доме Кирпичниковых постепенно скопилась большая библиотека, кроме книг классиков там было 98 томов энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона. Не только дети, но и внуки, конечно, пользовались домашней библиотекой.

Деревянный дом — невысокий, одноэтажный, в котором долгие годы жила семья Кирпичниковых, — Дмитрий Матвеевич строил «наполовину самостоятельно». В этом доме всё было сделано его руками: деревянные кровати, полки для книг, вешалки, рама для зеркала, стоявший в коридоре умывальник с ножной педалью; из кувшина, стоявшего наверху, при нажатии педали по резиновому шлангу текла вода. Снаружи к дому он пристроил террасу. Перед домом был цветник. Рядом с домом — большой огород, малинник, крыжовник и большой фруктовый сад. Среди фруктовых деревьев рос привезённый им с Урала терн (дикие сливы), а подальше — орешник. Умело и свободно посаженный, он в урожайные годы давал много орехов. Вода для хозяйственных нужд и поливки большого огорода подавалась наверх из протекавшего по дну оврага ручья тараном, установленным руками Дмитрия Матвеевича (одно из его изобретений).

Дом Дмитрия Матвеевича постоянно находился под надзором полиции из-за политической неблагонадёжности. В какие-то годы в нём было организовано нечто вроде народной школы для крестьянских детей из ближних деревень. Грамоте их обучала Вера Дмитриевна, и это вызывало неудовольствие и протест местных властей, которые требовали прекратить такую деятельность. Но больше всего беспокойства полиции доставляли сыновья Кирпичниковых. За участие в студенческом революционном движении их даже арестовывали, они были первыми организаторами социал-демократического движения в Кинешемском уезде.

В доме Кирпичниковых в разные годы до революции бывали многие известные люди: писатель Владимир Галактионович Коро-



Олимпиада Прокофьевна Шапошникова (Липанушка), 1873

ленко, Виккентий Виккентьевич Вересаев, Инесса Арманд, Вячеслав Иванович Яковицкий и др.

Под именем Тереза Боньони жила “итальянка” — певица и революционерка Валентина Багрова, с которой (так рассказывали) В. И. Ленин посылал в Россию секретные партийные документы. Тереза жила у Кирпичниковых несколько раз и “гостила” несколько месяцев, но только после революции всем обитателям дома стало известно её настоящее имя. Вместе с ней бывал её муж Валентин Багров¹.

Олимпиада Прокофьевна Кирпичникова была организатором, а затем в течение многих лет бессменным председателем Кинешемского уездного Общества потребителей — кооперации, пайщиками которой были рабочие окружавших Кинешму фабрик. На собранные деньги (паи) открывались продуктовые магазины, продукты в них отпускались членам кооператива по “заборным” книжкам. Это в значительной степени решало проблему снабжения продуктами местных рабочих.

Все пятеро их детей получили высшее образование, все стали самостоятельными личностями, но жизнь их сложилась по-разному, и потомки остались не у всех.

Старшая дочь моего прадеда, **Вера Дмитриевна**, родилась в 1877 году. Окончила гимназию в г. Шуя с золотой медалью, затем — Высшие женские курсы в Санкт-Петербурге (Бестужевские). Во время студенческих волнений вместе с братьями была выслана из Петербурга под надзор полиции на место жительства. Вернулась продолжать учение после того, как её взял на поруки профессор И. В. Мушкетов (геолог). Работала сначала домашней учительницей в семье, затем преподавала в гимназии в г. Осташков, после революции была учительницей в школе 2-ой ступени в Вичуге. Покоряла своей добротой. Вера вышла замуж за Ивана Жилина и родила четверых детей: Наталью, Дмитрия, Сергея и Анну.

Виктор Дмитриевич Кирпичников родился 25 ноября 1881 года (12 октября по ст. стилю) в Романове-Борисоглебске. Окончил Петербургский Технологический институт в 1905 г. В 1904–1906 гг. был членом РСДРП(б)). Вместе с братом Сергеем преследовался за участие в революции 1905–6 года. Был другом Орджоникидзе и начальником бюро “Турбоботелстрой” Наркомата тяжёлой промышленности СССР.

¹О Валентине Багровой см. в книге Л. Троцкого, с которым она оказалась на скамье подсудимых по делу “о Совете Рабочих Депутатов”.

Как-то, уже после революции, Веру Дмитриевну спросил один старый большевик Фёдор Васильевич Гладков¹, не сестра ли она того самого Виктора Кирпичникова, которого привозили вечерами в Вичугу для выступлений на нелегальных сходках, а потом сразу же увозили обратно в Кинешму, так как оставаться ночевать ему было нельзя. Вера Дмитриевна ответила, что да, она его сестра. Можно полагать, что для таких выступлений Виктора Кирпичникова привозили не только в Вичугу. Он был одним из самых активных революционеров в Кинешемском уезде. Партийная организация избрала его делегатом на IV (Стокгольмский) съезд, куда он ездил вместе с В. И. Лениным. Выступление его на съезде имеется в стенограмме этого съезда.

Блестящий инженер-электрик, в 20-х годах он был главным инженером МосЭнерго (напротив Кремля). Работал с инженером Классоном, изобрёл вместе с ним гидроторф. В 1931 г. был приговорён Коллегией ОГПУ СССР к расстрелу с заменой на 10 лет лагерей по обвинению в участии в контрреволюционной организации в МОГЭСе. Содержался в особом конструкторском бюро в Сталиногорске. В 1933 г. освобождён досрочно. Вновь арестован в 1937 г. Расстрелян 14.09.1937. Похоронен на Донском кладбище. Реабилитирован посмертно.

Женат был на полячке Ванде. Их сын Юрий родился в 1906 г.

Екатерина Дмитриевна, родившаяся 18 ноября 1885 г., умерла в 60-е годы. В 1904 году она окончила гимназию, в 1916 году — Политехнические курсы в Петербурге. Это был первый выпуск женщин-химиков в царской России. Муж её — Всеволод Владимирович Федосов, а его мать, Вера Евстигнеевна, — урождённая Арманд. Известная Инесса Арманд была женой её брата, Александра Евгеньевича Арманда. Живя в Петербурге, Екатерина Дмитриевна общалась с Инессой, и через неё была знакома с Лениным, который несколько раз приходил на квартиру, где жила Екатерина Дмитриевна, с какими-то пакетами и просил спрятать их или кому-то передать. Впоследствии она жила в Заволжье (Кинешма) и долгое время работала на химической фабрике. Помнят её доброй и умной. Её единственный ребёнок умер.

Самый младший, **Борис Дмитриевич Кирпичников**, жил совсем недолго. Он родился в 1888 году, а не позже 1920 года погиб в

¹Гладков, Федор Васильевич (1883–1958). Пролетарский писатель, автор романов “Цемент” (1925), “Энергия” (1932–38), автобиографическая повесть “Повесть о детстве” (1949), “Вольница” (1950), “Лихая година” (1954). Дважды лауреат Государственной премии СССР (1950, 1951).

Белой Армии.

Сергей Дмитриевич Кирпичников, мой дед, был вторым по старшинству. Он родился 26 сентября 1878 по ст. стилю, умер от инфаркта в 1947 году. Окончил Технологический институт в 1904 г. (инженер-химик). За участие в студенческих волнениях его неоднократно арестовывали и высылали из Петербурга. Целый год он даже отсидел в Петропавловской крепости в одиночной камере (там находились только политические). Со слов моего отца, дед был участником революции 1905 года и членом РСДРП; отбывал ссылки и до, и после 17-го года; вечно в авантюрах и кооперативах. Был сильно увлекающейся натурой, жизнелюбом и женолюбом. . .



Сергей Дмитриевич Кирпичников

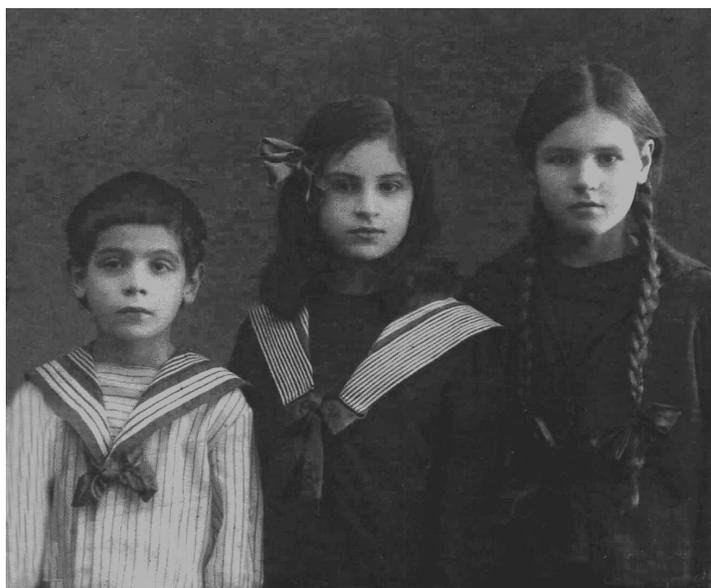
Его первая жена (папина мать) — Надежда Александровна (Авелевна) Крамник была родом из Белоруссии, дочь врача, из многодетной семьи (около 10 братьев и сестёр). Она была педагогом по призванию. Получила высшее музыкальное образование и окончила Высшие женские курсы. Имеет книги по экскурсоведению. Развелась с мужем в начале 20-х годов. Долгое время жила в Лосинке



Дедушка с бабушкой в юности

под Москвой на собственной даче¹.

У супругов было трое детей: две старших дочери и сын — Валентин Сергеевич Кирпичников. Его старшая сестра, Нина Сергеевна, прожила 101 год (1905–2007). О второй сестре не удалось найти никаких сведений, но известно, что она была, и даже сохранилась их общая фотография в детстве.



Отец с сёстрами

Мой отец — **Кирпичников Валентин Сергеевич** (1908–1991) — биолог, генетик, специалист по методам селекции рыб. Классическая его работа — “Генетические основы селекции рыб” (1979). Окончил МГУ, ученик Н. К. Кольцова и С. С. Четверикова. Проявил рыцарскую отвагу и бесстрашие, встав на защиту своих учителей и биологической науки во время разгрома генетики Лысенко и его пособниками. Опубликовал ряд трудов по истории генетики и эволюционной теории. Герой Социалистического Труда (1990), академик РАЕН. С начала 1970-х годов и до конца жизни заведовал лабораторией в Институте цитологии АН СССР.

¹Вторая жена Сергея Дмитриевича — Регина Станиславовна Преваль — хористка Художественного театра. Их дочь Татьяна умерла в Москве в 1943–44 г. от туберкулёза. Детей не имела.



Валентин Сергеевич Кирпичников

Как и его отец, Валентин Сергеевич был натурой увлекающейся. Женат был четыре раза и имел шестерых детей. От непродолжительного первого брака родился сын, Игорь Валентинович Кирпичников (1932 г.) — физик, кандидат физико-математических наук, имеет дочь Ольгу Игоревну и сына Алексея Игоревича Кирпичниковых.

Во втором браке у Валентина Сергеевича появились две дочери: Наталья (1935–2000) и Елена (1938). В 1941 году Кирпичников ушёл добровольцем на войну и больше в эту семью не вернулся. Дочери Наташа и Лена, детство которых выпало на самые тяжёлые и голодные военные и послевоенные годы, много болели, обе стали инвалидами, и детей не имели; жили в Москве на Грайвороновской улице, в одной квартире с матерью.

Третья жена Валентина Сергеевича (моя мать) — генетик Раиса Львовна Берг (1913–2006) родила 2-х дочерей: Елизавету (1947) и Марию (1948).

В 1953 году В. С. Кирпичников, разрушив третью семью, женился в четвёртый раз — на Людмиле Михайловне Алексиной. Их дочь Ольга родилась 12 июня 1954 года. Сын Ольги — Алексей Петрович Крылов.

Вот групповая фотография, сделанная в 1951 году на академической даче Л. С. Берга в Комарово. На ней мирно сосуществуют две семьи моего отца. Стоят: мой отец со своей первой женой Екатериной и сыном Игорем. Сидит справа его третья жена (наша мама Р. Л. Берг) с младшей дочерью Машей на руках. Я сижу на коленях у Людмилы Алексеевой. Слева от нас сидит Марина Алексеева, а справа — вдова Л. С. Берга, мачеха моей матери Мария Михайловна Ивановна-Берг (“Марьмиха”).



Кроме моего старшего брата Игоря и его детей, осталась я одна, кто носит фамилию Кирпичниковых. Трое моих сыновей и семеро внуков — уже с другими фамилиями. Они рассеяны по всему свету, но многие черты характера и внешности Кирпичниковых я наблюдаю как у детей моих, так и у внуков. Вероятно, эти характерные особенности нашего старинного рода долго ещё будут проявляться у моих потомков — из поколения в поколение. . .

Альбом рисунков



















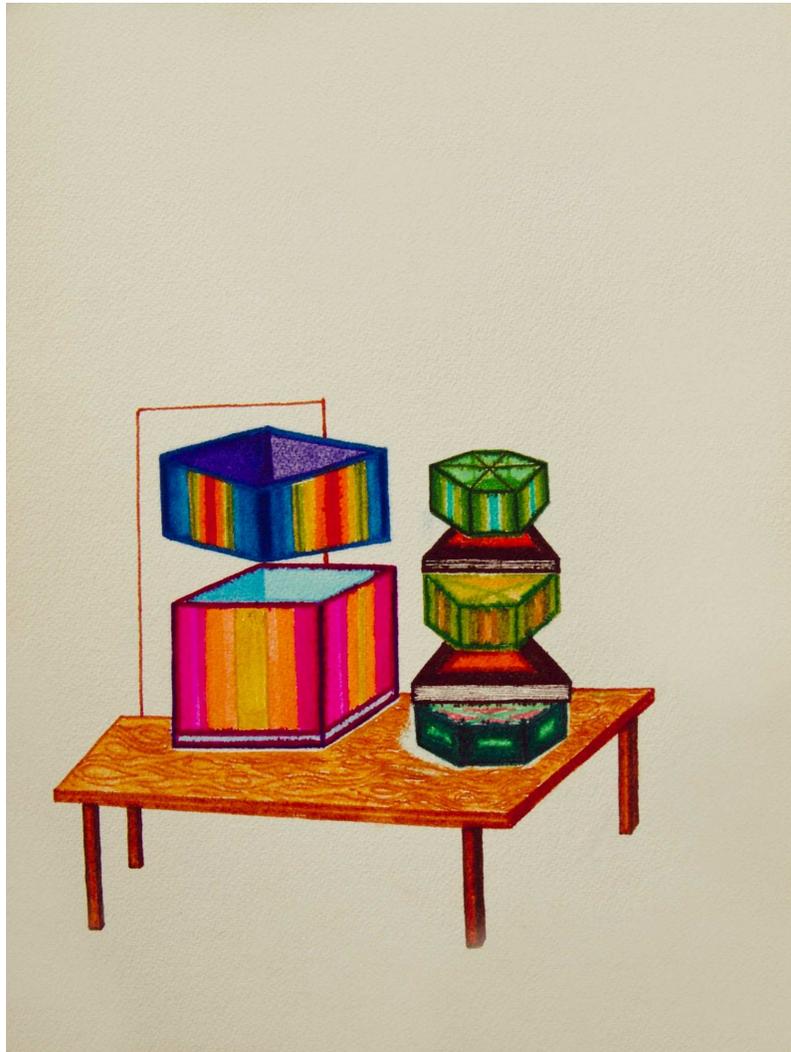


















New Heritage Publishers, 2020

